





КОНСТАНТИН СИМОНОВ

**ЖИВЫЕ  
И  
МЕРТВЫЕ**



МОСКВА  
2022

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44  
С37

**Симонов, Константин Михайлович.**

С37 Живые и мертвые / Константин Симонов. — Москва : Эксмо : Яуза, 2022. — 576 с. — (Классика военного романа).

ISBN 978-5-04-167167-9

Первая книга трилогии Константина Симонова увидела свет в 1960 г. Роман «Живые и мертвые» имел оглушительный успех в Советском Союзе и уже в 1964 г. был экранизирован. Автор романа был не только талантливым писателем, но и военным корреспондентом в годы войны, потому в книге нет места вымыслу. Трилогия включена в перечень «100 книг по истории, культуре и литературе народов Российской Федерации, рекомендуемых школьникам к самостоятельному прочтению». Первая часть трилогии написана на основе фронтовых записок К.М. Симонова и во многом перекликается с личным опытом автора.

В романе много образов и персонажей, но главных героев лишь двое — политрук Иван Синцов и комбриг Федор Серпилин. Эти герои представляют собой олицетворение советского офицера. Серпилин — герой Гражданской войны, успешный красный командир, прошедший через жернова репрессий, но сохранивший верность Родине. Синцов — молодой командир, уже в первые дни столкнувшийся с военными трибуналами и необходимостью оправдываться за нахождение в плену и потерю документов. Оба героя не ропщут на судьбу, храбро сражаются с врагом на московском направлении. По мнению Дмитрия Быкова, в образе Ивана Синцова выведен сам автор романа.

Роман «Живые и мертвые» хорошо показывает отношение автора к войне, раскрывает его ценности, ведь в слова главных героев он вкладывает свои мысли, которые до сих пор кажутся правильными. Не случайно роман «Живые и мертвые» называют самой человечной книгой о войне.

**УДК 821.161.1-31**  
**ББК 84(2Рос=Рус)6-44**

ISBN 978-5-04-167167-9

© Симонов К.М., наследники, 2022  
© ООО «Издательство «Яуза», 2022  
© ООО «Издательство «Эксмо», 2022

Первый день войны застал семью Синцовых врасплох, как и миллионы других семей. Казалось бы, все давно ждали войны, и все-таки в последнюю минуту она обрушилась как снег на голову; очевидно, вполне приготовить себя заранее к такому огромному несчастью вообще невозможно.

О том, что началась война, Синцов и Маша узнали в Симферополе, на жарком привокзальном пяточке. Они только что сошли с поезда и стояли возле старого открытого «линкольна», ожидая попутчиков, чтобы в складчину доехать до военного санатория в Гурзуфе.

Оборвав их разговор с шофером о том, есть ли на рынке фрукты и помидоры, радио хрипло на всю площадь сказало, что началась война, и жизнь сразу разделилась на две несоединимые части: на ту, что была минуту назад, до войны, и на ту, что была теперь.

Синцов и Маша донесли чемоданы до ближайшей скамейки. Маша села, уронила голову на руки и, не шевелясь, сидела как бесчувственная, а Синцов, даже не спрашивая ее ни о чем, пошел к военному коменданту брать места на первый же отходящий поезд. Теперь им предстояло сделать весь обратный путь из Симферополя в Гродно, где Синцов уже полтора года служил секретарем редакции армейской газеты.

К тому, что война была несчастьем вообще, в их семье прибавлялось еще свое, особенное несчастье: политрук Синцов с женой были за тысячу верст от войны, здесь, в Симферополе, а их годовалая дочь осталась там, в Гродно, рядом с войной.

Она была там, они тут, и никакая сила не могла перенести их к ней раньше чем через четверо суток.

Стоя в очереди к военному коменданту, Синцов пробовал представить себе, что сейчас творится в Гродно. «Слишком близко, слишком близко к границе, и авиация, самое главное — авиация... Правда, из таких мест детей сразу же могут эвакуировать...» Он зацепился за эту мысль, ему казалось, что она может успокоить Машу.

Он вернулся к Маше, чтобы сказать, что все в порядке: в двенадцать ночи они выедут обратно. Она подняла голову и посмотрела на него как на чужого.

— Что в порядке?

— Я говорю, что с билетами все в порядке, — повторил Синцов.

— Хорошо, — равнодушно сказала Маша и опять опустила голову на руки.

Она не могла простить себе, что уехала от дочери. Она сделала это после долгих уговоров матери, специально приехавшей к ним в Гродно, чтобы дать возможность Маше и Синцову вместе съездить в санаторий. Синцов тоже уговаривал Машу ехать и даже обиделся, когда она в день отъезда подняла на него глаза и спросила: «А может, все-таки не поедем?» Не послушайся она их обоих тогда, сейчас она была бы в Гродно. Мысль быть там сейчас не пугала ее, пугало, что ее там нет. В ней жило такое чувство вины перед оставленным в Гродно ребенком, что она почти не думала о муже.

Со свойственной ей прямоотой она сама вдруг сказала ему об этом.

— А что обо мне думать? — сказал Синцов. — И вообще все будет в порядке.

Маша терпеть не могла, когда он говорил так: вдруг ни к селу ни к городу начинал бессмысленно успокаивать ее в том, в чем успокоить было нельзя.

— Брось болтать! — сказала она. — Ну что будет в порядке? Что ты знаешь? — У нее даже губы задрожали от злости. — Я не имела права уехать! Понимаешь: не имела права! — повторила она, крепко сжатым кулаком больно ударяя себя по коленке.

Когда они сели в поезд, она замолчала и больше не упрекала себя, а на все вопросы Синцова отвечала только «да» и «нет». Вообще всю дорогу, пока они ехали до Москвы, Маша жила как-то механически: пила чай, молча глядела в окно, потом ложилась на свою верхнюю полку и часами лежала, отвернувшись к стене.

Вокруг говорили только об одном — о войне, а Маша словно и не слышала этого. В ней совершалась большая и тяжелая внутренняя работа, к которой она не могла допустить никого, даже Синцова.

Уже под Москвой, в Серпухове, едва поезд остановился, она впервые за все время сказала Синцову:

— Выйдем, погуляем...

Вышли из вагона, и она взяла его под руку.

— Знаешь, я теперь поняла, почему с самого начала почти не думала о тебе: мы найдем Таню, отправим ее с мамой, а я останусь с тобой в армии.

— Уже решила?

— Да.

— А если придется перерешить?

Она молча покачала головой.

Тогда, стараясь быть как можно спокойней, он сказал ей, что два вопроса — как найти Таню и идти или не идти в армию — надо разделить...

— Не буду я их делить! — прервала его Маша.

Но он настойчиво продолжал объяснять ей, что будет куда разумнее, если он поедет к месту службы, в Гродно, а она, наоборот, останется в Москве. Если семьи эвакуировали из Гродно (а это, наверное, сделали), то Машина мать вместе

с Таней, уж конечно, постарается добраться до Москвы, до своей собственной квартиры. И Маше, хотя бы для того, чтобы не разъехаться с ними, самое разумное — ждать их в Москве.

— Может быть, они уже сейчас там, приехали из Гродно, пока мы едем из Симферополя!

Маша недоверчиво посмотрела на Синцова и опять замолчала до самой Москвы.

Они приехали в старую артемьевскую квартиру на Усачевке, где так недавно и так беззаботно прожили двое суток по дороге в Симферополь.

Из Гродно никто не приезжал. Синцов надеялся на телеграмму, но и телеграммы не было.

— Сейчас я поеду на вокзал, — сказал Синцов. — Может быть, достану место, сяду на вечерний. А ты попробуй позвонить, вдруг удастся.

Он вынул из кармана гимнастерки записную книжку и, вырвав листок, записал Маше гродненские редакционные телефоны.

— Подожди, сядь на минуту, — остановила она мужа. — Я знаю, ты против того, чтобы я ехала. Но как все-таки это сделать?

Синцов стал говорить, что делать этого не надо. К прежним доводам он прибавил новый: если даже ей дадут сейчас доехать до Гродно, а там возьмут в армию — в чем он сомневается, — неужели она не понимает, что ему от этого будет вдвое тяжелей?

Маша слушала, все больше и больше бледнея.

— А как же ты не понимаешь, — вдруг закричала она, — как же ты не понимаешь, что я тоже человек?! Что я хочу быть там, где ты?! Почему ты думаешь только о себе?

— Как «только о себе»? — ошеломленно спросил Синцов.

Но она, ничего не ответив, горько разрыдалась; а когда выплакалась, сказала деловым голосом, чтобы он ехал на вокзал доставать билеты, а то опоздает.



— И мне тоже. Обещаешь?

Разозленный ее упрямством, он наконец перестал щадить ее, отрубил, что никаких штатских, тем более женщин, в поезд, идущий до Гродно, сейчас не посадят, что уже вчера в сводке было Гродненское направление и пора наконец трезво смотреть на вещи.

— Хорошо, — сказала Маша, — если не посадят, значит, не посадят, но ты постарайся! Я тебе верю. Да?

— Да, — угрюмо согласился он.

И это «да» много значило. Он никогда не лгал ей. Если ее можно будет посадить в поезд, он возьмет ее.

Через час он с облегчением позвонил ей с вокзала, что получил место на поезд, отходящий в одиннадцать вечера в Минск, — прямо до Гродно поезда нет, — и комендант сказал, что сажать в этом направлении не приказано никого, кроме военнослужащих.

Маша ничего не ответила.

— Что ты молчишь? — крикнул он в трубку.

— Ничего. Я пробовала звонить в Гродно, сказали, что связи пока нет.

— Ты пока переложи все мои вещи в один чемодан.

— Хорошо, переложу.

— Я сейчас попробую пробиться в Политуправление. Может быть, редакция куда-нибудь переместилась, попробую узнать. Часа через два буду. Не скучай.

— А я не скучаю, — все тем же бескровным голосом сказала Маша и первая повесила трубку.

Маша переключивалась вещи Синцова и неотступно думала все об одном и том же: как же все-таки она могла уехать из Гродно и оставить там дочь? Она не солгала Синцову, она и в самом деле не могла отделить своих мыслей о дочке от мыслей о самой себе: дочь надо найти и отправить сюда, а самой остаться вместе с ним там, на войне.

Как выехать? Что сделать для этого? Вдруг в последнюю минуту, уже закрывая чемодан Синцова, она вспомнила, что у нее где-то на клочке бумаги записан служебный телефон одного из товарищей брата, с которым тот вместе служил на Халхин-Голе, полковника Польшина. Этот Польшин, как раз когда они остановились здесь по дороге в Симферополь, вдруг позвонил и сказал, что прилетел из Читы, видел там Павла и обещал ему сделать личный доклад матери.

Маша тогда сказала Польшину, что Татьяна Степановна в Гродно, и записала его служебный телефон, чтобы мать позвонила ему, в Главную авиационную инспекцию, когда вернется. Только вот где он, этот телефон? Она долго лихорадочно искала, наконец нашла и позвонила.

— Полковник Польшин слушает! — сказал сердитый голос.

— Здравствуйте! Я сестра Артемьева. Мне нужно вас увидеть.

Но Польшин даже не понял сразу, кто она и чего от него хочет. Потом наконец понял и после долгой неприветливой паузы сказал, что если ненадолго, то хорошо, пусть через час приедет. Он выйдет к подъезду.

Маша сама не знала толком, чем может помочь ей этот Польшин, но ровно через час была у подъезда большого военного дома. Ей казалось, что она помнит внешность Польшина, но среди сновавших вокруг нее людей его не было видно. Вдруг дверь открылась, и к ней подошел молоденький сержант.

— Вам товарища полковника Польшина? — спросил он у Маши и виновато объяснил, что товарища полковника вызвали в наркомат, он уехал десять минут назад и просил подождать. Лучше всего там, в скверике, за трамвайной линией. Когда полковник прибудет, то за ней придут.

— А когда он приедет? — Маша вспомнила, что Синцов уже скоро должен вернуться домой.

Сержант только пожал плечами.

Маша прождала два часа, и как раз в ту минуту, когда она, решив больше не ждать, перебежала линию, чтобы вскочить в трамвай, из подъехавшей «эмочки» вылез Польшин. Маша узнала его, хотя его красивое лицо сильно переменилось и казалось постаревшим и озабоченным.

Чувствовалось, что он считает каждую секунду.

— Не обижайтесь, постоим, поговорим прямо тут, а то у меня там уже народ собран... Что у вас стряслось?

Маша как могла коротко объяснила, что у нее стряслось и чего хочет. Они стояли рядом, на трамвайной остановке, прохожие толкались, задевали их плечами.

— Что ж, — сказал Польшин, выслушав ее. — Думаю, муж ваш прав: семьи из тех мест по возможности эвакуируют. В том числе и семьи наших авиаторов. Если что-нибудь узнаю через них, позвоню. А ехать туда сейчас вам не ко времени.

— И все-таки очень прошу вас помочь! — упрямо сказала Маша.

Польшин сердито сложил руки на груди.

— Слушайте, чего вы просите, куда вы лезете, извините за выражение! Под Гродно сейчас такая каша, можете вы это понять?

— Нет.

— А не можете, так слушайте тех, кто понимает!

Он спохватился, что, желая отговорить ее от глупостей, бухнул лишнее насчет той каши, которая сейчас под Гродно: ведь у нее там дочь и мать.

— В общем, там положение, конечно, прояснится, — неуклюже поправился он. — И эвакуация семей, конечно, будет налажена. И я вам буду звонить, если узнаю хотя бы малейшее что! Хорошо?

Он очень спешил и был окончательно не в состоянии скрывать это.

...Придя домой и не застав Маши, Синцов не знал, что и думать. Хоть бы оставила записку! Машин голос по телефону

показался ему странным, но не могла же она поссориться с ним сегодня, когда он уезжает!

В Политуправлении ему не сказали ровно ничего сверх того, что он знал и сам: в районе Гродно бои, а передислоцировалась или нет редакция его армейской газеты, ему сообщат завтра в Минске.

До сих пор и собственная, не выходявшая из головы тревога за дочь, и состояние полной потерянности, в котором находилась Маша, заставляли Синцова забывать о себе. Но сейчас он со страхом подумал именно о себе, о том, что это война и что именно он, а не кто-нибудь другой, едет сегодня туда, где могут убить.

Едва он подумал об этом, как раздался прерывистый междугородный звонок. Пробежав через комнату, он рванул с рычага трубку, но звонил не Гродно, а Чита.

— Кто это? Мама? — донесся сквозь многоголосое жужжание неимоверно далекий голос Артемьева.

— Нет, это я, Синцов.

— А я думал, ты уже воюешь.

— Еду сегодня.

— А где твои? Где мать?

Синцов сказал все, как было.

— Да-а, невеселые у вас дела! — еле слышным, охрипшим голосом сказал Артемьев на том конце шеститысячeverстного провода. — По крайней мере, хоть Марусю не пускай туда. И черт меня занес в Забайкалье! Как без рук!

— Разъединяю, разъединяю! Ваше время кончилось! — как дятел, задолбила телефонистка, и в трубке разом оборвалось все: и голоса и жужжание, — осталась одна тишина.

Маша вошла молча, опустив голову. Синцов не стал спрашивать ее, где она была, ждал, что скажет сама, и только поглядел на стенные часы: до ухода из дома оставался всего час.

Она перехватила его взгляд и, почувствовав укоризну, взглянула ему прямо в лицо.

— Не обижайся! Я ходила советоваться, нельзя ли все-таки уехать с тобой.

— Ну и что тебе посоветовали?

— Ответили, что пока нельзя.

— Ах, Маша, Маша! — только и сказал ей Синцов.

Она ничего не ответила, стараясь взять себя в руки и унять дрожь в голосе. В конце концов ей это удалось, и в последний час перед разлукой она казалась почти спокойной.

Но на самом вокзале лицо мужа в больничном свете синих маскировочных лампочек показалось ей нездоровым и печальным; она вспомнила слова Польшина: «Под Гродно сейчас такая каша!..» — вздрогнула от этого и порывисто прижалась к шинели Синцова.

— Что ты? Ты плачешь? — спросил Синцов.

Но она не плакала. Просто ей стало не по себе, и она прижалась к мужу так, как прижимаются, когда плачут.

Оттого, что никто еще не свыкся ни с войной, ни с затемнением, на ночном вокзале царили толчея и беспорядок.

Синцов долго не мог ни у кого узнать, когда же пойдет тот поезд, на Минск, с которым ему предстояло отправляться. Сначала ему сказали, что поезд уже ушел, потом — что пойдет только под утро, а сразу же вслед за этим кто-то закричал, что поезд на Минск отправляется через пять минут.

Провожающих почему-то не пускали на перрон, в дверях сразу же образовалась давка, и Маша и Синцов, стиснутые со всех сторон, в суматохе даже не успели напоследок обняться. Прихватив Машу одной рукой — в другой у него был чемодан, — Синцов в последнюю секунду больно прижал ее лицо к пряжкам скрещивавшихся у него на груди ремней и, поспешно оторвавшись от нее, исчез в вокзальных дверях.

Тогда Маша обежала вокзал кругом и вышла к высокой, в два человеческих роста решетке, отделявшей вокзальный двор от перрона. Она уже не надеялась увидеть Синцова, ей хотелось только поглядеть, как будет отходить от платформы

его поезд. Она полчаса простояла у решетки, а поезд все еще не трогался. Вдруг она различила в темноте Синцова: он вылез из одного вагона и шел к другому.

— Ваня! — закричала Маша, но он не услышал и не повернулся. — Ваня! — еще громче крикнула она, схватясь за решетку.

Он услышал, удивленно повернулся, несколько секунд бестолково смотрел в разные стороны и, только когда она крикнула в третий раз, подбежал к решетке.

— Ты не уехал? Когда же пойдет поезд? Может быть, не скоро?

— Не знаю, — сказал он. — Все время говорят, что с минуты на минуту.

Он поставил чемодан, протянул руки, и Маша тоже протянула ему руки через решетку. Он поцеловал их, а потом взял в свои и все время, пока они стояли, так и держал, не выпуская.

Прошло еще полчаса, а поезд все не отходил.

— Может быть, ты все-таки найдешь себе место, положишь вещи, а потом выйдешь? — спохватилась Маша.

— А-а!.. — Синцов небрежно тряхнул головой, по-прежнему не выпуская ее рук. — Сяду на подножку!

Они были заняты надвигающейся на них разлукой и, не думая об окружающих, пытались смягчить эту разлуку привычными словами того мирного времени, которое уже три дня как перестало существовать.

— Я уверен, что с нашими все в порядке.

— Дай бог!

— Может быть, даже встречусь с ними на какой-нибудь станции: я — туда, а они — сюда!

— Ах, если бы так!..

— Я, как приеду, сразу же напишу тебе.

— Тебе будет не до меня, просто дай телеграмму — и все.

— Нет, я непременно напишу. Ты жди письма...

— Еще бы!

— Но и ты мне пиши, хорошо?

— Конечно!

Они оба еще до конца не понимали того, что в действительности уже сейчас, на четвертые сутки, представляла собой эта война, на которую ехал Синцов. Они еще не могли представить себе, что ничего, ровно ничего из того, о чем они сейчас говорили, уже долго, а может быть, и никогда не будет в их жизни: ни писем, ни телеграмм, ни свиданий...

— Трогаемся! Кто едет, садитесь! — закричал кто-то за спиной Синцова.

Синцов, в последний раз стиснув Машины руки, схватил чемодан, накрутил на кулак ремень полевой сумки и на ходу, потому что поезд уже медленно пополз мимо, вскочил на подножку.

И сразу же вслед за ним на подножку вскочил кто-то еще и еще, и Синцова заслонили от Маши. Ей то казалось издали, что это он машет ей фуражкой, то казалось, что это чужая рука, а потом ничего уже не стало видно; замелькали другие вагоны, другие люди кричали что-то кому-то, а она стояла одна, прижавшись лицом к решетке, и торопливо застегивала плащ на вдруг озябшей груди.

Поезд, почему-то составленный из одних дачных вагонов, с томительными стоянками шел через Подмоскovie и Смоленщину. И в том вагоне, где ехал Синцов, и в других вагонах большую часть пассажиров составляли командиры и политработники Особого Западного военного округа, срочно возвращавшиеся из отпусков в части. Лишь сейчас, оказавшись все вместе в этих ехавших к Минску дачных вагонах, с удивлением увидели друг друга.

Каждый из них, порознь уходя в отпуск, не представлял себе, как это выглядит все, вместе взятое, какая лавина людей, обязанных сейчас командовать в бою ротами, батальо-

нами и полками, оказалась с первого дня войны оторванной от своих, наверно уже дравшихся, частей.

Как это могло получиться, когда предчувствие надвигающейся войны висело в воздухе еще с апреля, не мог понять ни Синцов, ни другие отпусники. В вагоне то и дело вспыхивали разговоры об этом, затихали и снова вспыхивали. Ни в чем не повинные люди чувствовали себя виноватыми и нервничали на каждой длинной стоянке.

Расписание отсутствовало, хотя за весь первый день в пути не было ни одной воздушной тревоги. Только ночью, когда поезд стоял в Орше, кругом заревели паровозы и дрогнули стекла: немцы бомбили Оршу-товарную.

Но даже и тут, впервые слыша звуки бомбежки, Синцов еще не понимал, как близко, вплотную подъезжает их дачный поезд к войне. «Ну что ж, — думал он, — в том, что немцы по ночам бомбят идущие к фронту составы, нет ничего удивительного». Вдвоем с капитаном-артиллеристом, сидевшим напротив него и ехавшим в свою часть, на границу, в Домачево, они решили, что немцы, наверное, летают из Варшавы или Кенигсберга. Если б им сказали, что немцы уже вторую ночь летают на Оршу с нашего военного аэродрома в Гродно, из того самого Гродно, куда Синцов ехал в редакцию своей армейской газеты, они просто не поверили бы этому!

Но прошла ночь, и им пришлось поверить в гораздо худшие вещи. Утром поезд дотащился до Борисова, и комендант станции, кривясь, как от зубной боли, заявил, что эшелон дальше не пойдет: путь между Борисовом и Минском разбомблен и перерезан немецкими танками.

В Борисове было пыльно и душно, над городом кружились немецкие самолеты, по дороге шли войска и машины: одни — в одну, другие — в другую сторону; у госпиталя прямо на булыжной мостовой лежали на носилках убитые.

Перед комендатурой стоял старший лейтенант и кричал кому-то оглушительным голосом: «Закопать пушки!» Это был



комендант города, и Синцов, не бравший с собой в отпуск оружия, попросил выдать ему наган. Но у коменданта не было нагана: час назад он роздал дотла весь арсенал.

Задержав первый попавшийся грузовик, шофер которого упрямо метался по городу в поисках своего куда-то запропастившегося завскладом, Синцов и капитан-артиллерист поехали искать начальника гарнизона. Капитан отчаялся попасть в свой полк на границу и хотел получить назначение в какую-нибудь артиллерийскую часть здесь, на месте. Синцов надеялся узнать, где Политуправление фронта, — если добраться до Гродно уже нельзя, пусть его пошлют в любую армейскую или дивизионную газету. Оба были готовы идти куда угодно и делать что угодно, только бы перестать болтаться между небом и землей в этом трижды проклятом отпуску. Им сказали, что начальник гарнизона где-то за Борисовом, в военном городке.

На окраине Борисова над их головами, строча из пулеметов, пронесся немецкий истребитель. Их не убило и не ранило, но от борта грузовика полетели щепки. Синцов, опомнившись от страха, бросившего его лицом на пропахшее бензином дно грузовика, с удивлением вытащил вершковую занозу, через гимнастерку воткнувшуюся ему в предплечье.

Потом оказалось, что в трехтонке кончается бензин, и они, прежде чем искать начальника гарнизона, поехали по шоссе в сторону Минска, на нефтебазу.

Там они застали странную картину: лейтенант — начальник нефтебазы — и старшина держали под двумя пистолетами майора в саперной форме. Лейтенант кричал, что он скорее застрелит майора, чем позволит ему подорвать горючее. Немолодой майор, с орденом на груди, держа руки вверх и дрожа от досады, объяснял, что приехал сюда не подрывать нефтебазу, а лишь выяснить возможности ее подрыва. Когда наконец пистолеты были опущены, майор со слезами ярости на глазах стал кричать, что это позор — держать под писто-

летом старшего командира. Чем кончилась эта сцена, Синцов так и не узнал. Лейтенант, угрюмо слушавший выговор майора, буркнул, что начальник гарнизона находится в казармах танкового училища, недалеко отсюда, в лесу, и Синцов поехал туда.

В танковом училище все двери были распахнуты настежь — и хоть шаром покати! Только на плацу стояли две танкетки с экипажами. Они были оставлены здесь впредь до дальнейших распоряжений. Но этих распоряжений уже сутки не поступало. Толком никто ничего не знал. Одни говорили, что училище эвакуировано, другие — что оно ушло в бой. Начальник Борисовского гарнизона, по слухам, находился где-то на Минском шоссе, но не по эту сторону Борисова, а по ту.

Синцов и капитан вернулись в Борисов. Комендатура грузилась. Комендант охрипшим голосом прошептал, что есть приказ маршала Тимошенко оставить Борисов, отойти за Березину и там, не пуская немцев дальше, защищаться до последней капли крови.

Артиллерийский капитан недоверчиво сказал, что комендант порет какую-то отсебятину. Однако комендатура грузилась, и едва ли это делалось без чьего-то приказа. Они снова выехали на своем грузовике за город. Поднимая тучи пыли, по шоссе шли люди и машины. Но теперь все это двигалось уже не в разные стороны, а в одну — на восток от Борисова.

У въезда на мост в толчее стоял громадного роста человек, без фуражки, с наганом в руке. Он был вне себя и, задерживая людей и машины, надорванным голосом кричал, что он, политрук Зотов, должен остановить здесь армию и он остановит ее и расстреляет каждого, кто попробует отступить!

Но люди двигались и двигались мимо политрука, проезжали и проходили, и он пропускал одних, для того чтобы остановить следующих, засовывал за пояс наган, брал кого-то за грудь, потом отпускал, опять хватался за наган, поворачивался и снова яростно, но бесполезно хватал кого-то за гимнастерку...

Синцов и капитан остановили машину в редком прибрежном лесу. Лес кишел людьми. Синцову сказали, что где-то рядом есть какие-то командиры, которые формируют части. И в самом деле, на опушке леса распоряжались несколько полковников. На трех грузовиках с откинутыми бортами составляли списки людей, из них формировались роты и под командой тут же, на месте, назначенных командиров отправляли налево и направо вдоль Березины. На других грузовиках лежали груды винтовок, их раздавали всем, кто записывался, но не был вооружен. Синцов тоже записался; ему досталась винтовка с примкнутым штыком и без ремня, ее все время приходилось держать в руке.

Один из распоряжавшихся полковников, лысый танкист с орденом Ленина, ехавший из Москвы в одном вагоне с Синцовым, посмотрел его отпускной билет, удостоверение личности и ядовито махнул рукой: какая, мол, сейчас к черту газета, — но тут же приказал, чтобы Синцов далеко не отходил: для него, как для интеллигентного человека, найдется дело. Полковник именно так странно и выразился — «как для интеллигентного человека». Синцов, потоптавшись, отошел и сел в ста шагах от полковника, возле своей трехтонки. Что означала эта фраза, он узнал лишь на следующий день.

Через час к машине подбежал артиллерийский капитан, выхватил из кабины вещевой мешок и, счастливо крикнув Синцову, что на первый случай получил под команду два орудия, убежал. Синцов его больше никогда не видел.

Лес был по-прежнему набит людьми, и, сколько бы их ни отправлялось под командой в разные стороны, казалось, все они никогда не рассосутся.

Прошел еще час, и над реденьким сосновым лесом появились первые немецкие истребители. Синцов каждые полчаса бросался на землю, прижимаясь головой к стволу тонкой сосны; высоко в небе колыхалась ее редкая крона. При каждом

налете лес начинал стрелять в воздух. Стреляли стоя, с колена, лежа, из винтовок, из пулеметов, из наганов.

А самолеты шли и шли, и все это были немецкие самолеты.

«А где же наши?» — горько спрашивал себя Синцов, так же как это и вслух и молча спрашивали все люди вокруг него.

Уже под вечер над лесом прошла тройка наших истребителей с красными звездами на крыльях. Сотни людей вскочили, закричали, радостно замахали руками. А еще через минуту три «ястребка» вернулись, строча из пулеметов.

Стоявший рядом с Синцовым пожилой интендант, снявший фуражку и прикрывшийся ею от солнца, чтобы получше разглядеть свои самолеты, свалился, убитый наповал. Рядом ранило красноармейца, и он, сидя на земле, все время сгибался и разгибался, держась за живот. Но еще и теперь людям казалось, что это случайность, ошибка, и лишь когда в третий раз те же самолеты прошли над самыми верхушками деревьев, по ним открыли огонь. Самолеты шли так низко, что один из них удалось сбить из пулемета. Ломаясь о деревья и разваливаясь на куски, он упал всего в ста метрах от Синцова. В обломках кабины застрял труп летчика в немецкой форме. И хотя в первые минуты весь лес торжествовал: «Наконец сбили!» — но потом всех ужаснула мысль, что немцы уже успели где-то захватить наши самолеты.

Наконец наступила долгожданная темнота. Шофер грузовика по-братски поделился с Синцовым сухарями и вытащил из-под сиденья купленную в Борисове бутылку теплого сладкого сидра. До реки не было и полукилометра, но ни у Синцова, ни у шофера после всего пережитого за день не хватило сил сходить туда. Они выпили сидро, шофер лег в кабине, высунув ноги наружу, а Синцов опустился на землю, приткнул к колесу машины полевую сумку и, положив на нее голову, несмотря на ужас и недоумение, все-таки упрямо подумал: нет, не может быть. То, что он видел здесь, не может происходить всюду!

С этой мыслью он заснул, а проснулся от выстрела над ухом. Какой-то человек, сидя на земле в двух шагах от него, палил в небо из нагана. В лесу рвались бомбы, вдали виднелось зарево; по всему лесу, в темноте, наезжая одна на другую и на деревья, ревели и двигались машины.

Шофер тоже рванулся ехать, но Синцов совершил первый за сутки поступок военного человека — приказал переждать панику. Только через час, когда все стихло — исчезли и машины и люди, — он сел рядом с шофером, и они стали искать дорогу из лесу.

На выезде, у опушки, Синцов заметил темневшую впереди на фоне зарева группу людей и, остановив машину, с винтовкой в руках пошел к ним. Двое военных, стоя на обочине шоссе, разговаривали с задержанным, штатским, требуя документы.

— Нету у меня документов! Нету!

— Почему нету? — настаивал один из военных. — Предъяви нам документы!

— Документы вам? — крикнул задрожавшим, злым голосом человек в штатском. — А зачем вам документы? Что я вам, Гитлер? Все Гитлера ловите! Все равно не поймаете!

Военный, требовавший предъявления документов, взялся за пистолет.

— Ну и стреляй, если совести хватит! — с отчаянным вызовом крикнул штатский.

Едва ли этот человек был диверсантом, скорее всего он был просто какой-нибудь мобилизованный, доведенный до горькой злобы поисками своего призывного пункта. Но того, что он крикнул про Гитлера, нельзя было кричать людям, тоже доведенным до бешенства своими мытарствами...

Но все это Синцов подумал потом, а тогда он ничего не успел подумать: над их головами зажглась ослепительно-белая ракета. Синцов упал и, уже лежа, услышал грохот бомбы. Когда он, переждав минуту, поднялся, то увидел в двадцати

шагах от себя только три изуродованных тела; словно приказывая ему навсегда запомнить это зрелище, ракета погорела еще несколько секунд и, коротко чиркнув по небу, бесследно упала куда-то.

Вернувшись к машине, Синцов увидел торчавшие из-под нее ноги шофера, залезшего головой под мотор. Они оба снова сели в кабину и сделали еще несколько километров к востоку, сначала по шоссе, потом по лесной дороге. Остановив двух встретившихся командиров, Синцов узнал, что ночью был приказ отойти из того леса, где они стояли вчера, на семь километров назад, на новый рубеж.

Чтобы шедшая без фар машина не врезалась в деревья, Синцов вылез из кабины и пошел впереди. Если б его спросили, зачем ему нужна эта машина и почему он с ней возится, он бы не ответил ничего вразумительного, просто так уж вышло: потерявший свою часть шофер не хотел отстать от политрука, а не доехавший до своей части Синцов был тоже рад, что с ним благодаря этой машине все время связана хоть одна живая душа.

Только на рассвете, поставив машину в другом лесу, где почти под каждым деревом стояли грузовики, а люди рыли щели и окопы, Синцов наконец добрался до начальства. Было серое, прохладное утро. Перед Синцовым на лесной тропинке стоял сравнительно молодой человек с трехдневной щетиной, в надвинутой на глаза пилотке, в гимнастерке с ромбами на петлицах, в красноармейской шинели, накинутой на плечи, и почему-то с лопатой в руках. Синцову сказали, что, кажется, это и есть начальник Борисовского гарнизона.

Синцов подошел к нему и, обратясь по всей форме, попросил товарища бригадного комиссара сказать, не может ли он, политрук Синцов, быть использован по своей должности армейского газетчика, а если нет, то какие будут приказания. Бригадный комиссар посмотрел отсутствующими глазами сна-

чала на его документы, потом на него самого и сказал с равнодушной тоской:

— Разве вы не видите, что делается? Про какую газету вы говорите? Какая может быть теперь здесь газета?

Он сказал это так, что Синцов почувствовал себя виноватым.

— Вам надо в штаб, а верней — в Политуправление фронта, там вам скажут, куда являться, — помолчав, сказал бригадный комиссар.

— А где штаб и Политуправление? — с надеждой спросил Синцов.

Но бригадный комиссар только пожал плечами и заговорил с другими людьми.

Синцов отошел и, не успев подумать, что же делать дальше, наткнулся на знакомого полковника-танкиста.

— Я вас искал! Где вы болтались? — строго прикрикнул полковник. — Вон, видите там? — показал он на группу людей, сидевших на двух сваленных соснах. — Мы временную тройку создали. Вы в газете секретарем были, поможете им протоколы вести!

На сваленных соснах сидели черноволосый военюрист второго ранга, белобрысый политрук с авиационными петлицами, майор войск НКВД с малиновыми петлицами и четверо бывших у них под началом красноармейцев. Все семеро отдыхали; у ног их валялись лопаты, а рядом зияли две наполовину отрытые противовоздушные щели. Синцов представился.

— Блокнот есть? — спросил военюрист.

— Есть.

— Ладно, — сказал военюрист, — сейчас дороем щели, а потом работать начнем.

Щели дорыли через час. Синцов сел на землю и спустил ноги в щель. От усталости и голода его клонило ко сну, и он сам не заметил, как задремал.

Сначала ему приснился сад, по которому шла Маша в военной форме, с петлицами военюриста, потом приснилась квартира на Усачевке; в нее вошел человек с лицом Гитлера и голосом того вчерашнего, убитого бомбой штатского, попросил, нет ли чего поесть. Синцов стал шарить на боку наган, чтобы застрелить его, но нагана на боку не было...

Он проснулся оттого, что кто-то столкнул его в щель и сам упал сверху. Щели были вырыты вовремя: высоко над соснами шли самолеты и сыпали на лес бомбы.

Весь этот день Синцов прожил как в тумане — от усталости, от голода, оттого, что почти не спал третьи сутки. Он то лез в щель, пережидая бомбежку и иногда засыпая при этом, то вылезал и грелся на солнце, свесив ноги в щель и тоже засыпая, то, когда приводили задержанных и военюрист, старший политрук и майор допрашивали их, писал протокол, положив блокнот на колено и с трудом выводя буквы.

— Да вы короче, короче, только главное! — всякий раз говорил военюрист.

А главным было то, что почти все задержанные не были ни диверсантами, ни шпионами, ни дезертирами, они просто шли откуда-то куда-то, искали кого-то или что-то и не находили, потому что все перемешалось и сдвинулось со своих мест. Попадая под обстрелы и бомбежки и наслушавшись страхов о немецких десантах и танках, некоторые из них, боясь плена, закапывали, а иногда и рвали документы.

Допросив, их обычно отпускали, одним сказав, куда примерно надо идти, а другим ничего не сказав, потому что не знали этого сами. Многие из отпущенных не хотели уходить, они боялись, что их где-нибудь снова задержат и заподозрят в дезертирстве.

Двух особенно подозрительных, задержанных в форме, но без всяких документов, так и не добившись от них внушающих доверия ответов — кто они, куда и откуда идут, — сочли диверсантами и приговорили к расстрелу. Конвоиры, ходившие



их расстреливать на опушку, потом рассказывали, что один из них плакал, просил подождать, уверял, что все объяснит, а второй сначала тоже говорил, чтоб подождали, а в последнюю минуту, уже под дулом, прокричал: «Хайль Гитлер!»

Среди задержанных за день оказался сумасшедший, очень высокий молодой красноармеец, с руками и ногами богатыря и с маленькой, детской стриженной головой на длинной детской шее. Не выдержав бомбежки, он вообразил, что попал в плен к переодетым в красноармейскую форму фашистам, и, выбежав на дорогу, размахивая руками, стал кричать проносившимся над головой немецким самолетам:

— Бейте, бейте!

В его обезумевшем мозгу все перевернулось: окружающие казались немцами, а немецкие самолеты — нашими. Его с трудом скрутили.

Он стоял бледный, дрожащий и, попеременно впиваясь глазами то в военюриста, то в Синцова, кричал им:

— Зачем вы переоделись, фашисты? Все равно я вас вижу! Зачем переоделись?!

Все попытки успокоить его и объяснить, что он находится среди своих, ни к чему не привели: чем больше его уговаривали, тем сильнее в его глазах разгорался огонек безумия.

Вдруг, быстро оглянувшись, он вырвался, метнулся в сторону, схватил прислоненную к дереву винтовку Синцова и в три огромных прыжка выскочил на дорогу.

— Бегите! — закричал он тонким, взвизгивающим, сумасшедшим голосом, закричал так, что все кругом услышали этот нечеловеческий вопль. — Спасайтесь! Фашисты нас окружили! Спасайтесь! — То нагибаясь, то выпрямляясь, он подпрыгивал на дороге, потрясая винтовкой.

Кто-то, увидев этого плясавшего на дороге и панически кричавшего человека, недолго думая, несколько раз подряд выстрелил в него из нагана, но не попал. Потом выстрелил кто-то еще и тоже не попал.

Синцов понял, что сейчас этого человека непременно убьют, не могут не убить, раз он кричит такие страшные, панические слова. Решив спасти его и не думая в эту минуту ни о чем другом, Синцов бросился к красноармейцу. Но тот, заметив подбегавшего Синцова, повернулся, перехватил винтовку и метнулся навстречу. Синцов увидел совсем близко его вылезшие из орбит, ненавидящие, безумные глаза, отпрыгнул в сторону так, что удар штыком пришелся по воздуху, и схватился обеими руками: правой — за ложе винтовки, а левой — за ствол. Теперь никто не стрелял, боясь попасть в Синцова, а он и сошедший с ума красноармеец несколько секунд яростно выкручивали друг у друга винтовку. В этой борьбе Синцов постепенно перехватил винтовку обеими руками за ложе, а красноармеец теперь держался за ствол. Синцов, собрав все силы, рванул винтовку к себе и не сразу понял, что произошло: отпустив руки, красноармеец взмахнул ими в воздухе, словно хотел схватиться за голову, и, не донся рук до лица, ничком свалился на дорогу.

И только когда он упал, Синцов понял, что выстрел, который он слышал за секунду до этого, был не чьим-то чужим, а его собственным. Рванув винтовку, он задел спусковой крючок, и теперь у его ног на дороге лежал убитый им человек.

Что именно убитый, а не раненый, он подумал еще раньше, чем, отбросив винтовку, присел на корточки над упавшим. Красноармеец лежал ничком, неловко и жалко вывернув набок стриженую детскую голову. Кровь стекала у него по шее на пыльную землю: пуля попала прямо в горло, в адамово яблоко.

— Чуть панику не устроил, гад! — сказал, останавливаясь над мертвым, рослый капитан с небритой щетиной. В руках у него был наган — это он стрелял первым. — Паникер, гад! — повторял капитан. — Собаке собачья смерть!

Но, хотя он говорил грубо и уверенно, у него у самого были собачьи, виноватые глаза. А грубостью своих слов он,

кажется, хотел убедить самого себя и окружающих в том, что был прав, стреляя в этого человека.

Синцов был как потерянный. Первое, что он сделал на войне, — убил своего! Хотел спасти — и убил!.. Что могло быть бессмысленней и страшней этого?!

Он так до конца дня и не узнал толком, что происходило кругом. То говорили, что Минск по-прежнему в наших руках, то, наоборот, что Борисов уже взят немцами; ближе к вечеру стали говорить, что где-то в семи километрах отсюда удалось остановить немецкие танки; впереди и правда, не приближаясь и не удаляясь, слышалась густая артиллерийская стрельба... Все эти обрывочные сведения доходили до Синцова словно в тумане — между бомбежками, тяжелыми мыслями о только что совершенном убийстве и новыми вопросами.

Уже на закате к Синцову подошел боец и сказал, что его зовет к себе полковник.

Полковник-танкист, по праву самого энергичного из оказавшихся здесь людей распоряжавшийся всеми другими, стоял на опушке леса, у замаскированной ветками палатки, к которой как раз в эту минуту двое связистов тянули шнур полевого телефона. Рядом с полковником стоял батальонный комиссар в пограничной форме.

— Вы спрашивали про Политуправление фронта, — без предисловий сказал полковник-танкист остановившемуся перед ним Синцову. — Вот он знает, где Политуправление фронта, — показал он на пограничника. — Где-то под Могилевом, он туда едет, может взять вас с собой.

Пограничник молча кивнул.

— Сейчас, я только вещи возьму! Подождете три минуты?

Пограничник снова кивнул и взглянул на часы.

— Я быстро! — Синцов бегом побежал к грузовику взять лежавший там в кузове чемодан.

Но грузовика на прежнем месте не было. С минуту походяв кругом, словно исчезнувший грузовик мог вырасти из

под земли, Синцов вспомнил, что его ждут, и, махнув рукой, побежал обратно.

Пограничник стоял у палатки и нетерпеливо переминался.

— Где же ваши вещи? — спросил он.

— В машине были, куда-то уехала, не знаю... — сказал Синцов. — Поеду так.

Он был рад и тому, что час назад, когда стало вечереть, вынул из машины и накинул на плечи шинель.

— Да, — сказал пограничник и похлопал себя по тощей полевой сумке. — Мои вещи тоже все тут, даже шинели нет, в машине сгорела.

Он мог бы сказать Синцову, что у него пропало все: сгорел дом, где он жил, и погибла семья, — но он сказал только о сгоревшей шинели и добавил:

— Пошли!

Они прошли два километра по лесной дороге, до ее пересечения с Минским шоссе. Синцов все ждал, что они остановятся у одной из спрятанных под деревьями машин и поедут на ней; он пропустил мимо ушей слова батальонного комиссара про сгоревшую в машине шинель. И только когда они вышли на Минское шоссе, по которому от времени до времени проносились грузовики, и пограничник сказал: «Сейчас проголосуем до Орши», — Синцов понял, что у батальонного комиссара нет никакой машины и они будут добираться на попутной.

— Пройдите двести шагов вперед, а я стану здесь, — сказал пограничник. — Если не задержу я, задерживайте вы.

Синцов, отойдя на двести шагов, хорошо видел, как батальонный комиссар несколько раз пробовал останавливать машины. Поднимал руку и сам Синцов, но машины пролетали мимо. Наконец он увидел, как пограничник остановил грузовик и, открыв дверцу кабины, стал говорить с сидевшими внутри.

Синцов сорвался с места — бежать к машине. В эту секунду раздался рев пикирующего самолета. Синцов привычно бросился на землю, успев почувствовать душный запах нагретого асфальта. Когда, пролежав несколько секунд, он повернул голову, на дороге не было ни грузовика, ни стоявшего рядом с ним пограничника. Бомба прямым попаданием ударила в машину, на асфальте дымилась воронка, кругом лежали куски изогнутого железа, а по шоссе навстречу Синцову катилось оторванное колесо. Прокатившись еще несколько шагов, словно оно хотело подъехать к самым его ногам, колесо покачнулось и упало, скрежетнув железом по асфальту.

Синцов стоял один на Минском шоссе, мимо него неслись машины, и на душе у него была такая тоска, что только перешедшая все границы усталость помешала ему закричать или разрыдаться.

Пройдя засветло еще несколько километров, Синцов, как и тысячи других людей, проспал ту ночь в придорожной канаве, положив пилотку под голову и закрыв лицо поднятым воротником шинели. Он проспал несколько часов мертвым сном, не слыша ни рева проносившихся по шоссе машин, ни грохота ночной бомбежки, и проснулся оттого, что кто-то, отогнув воротник шинели, трогал рукою его лицо.

— Нет, этот живой, — сказал голос.

Синцов открыл глаза и сел. Перед ним стояли два мальчика лет по шестнадцати, одетые в чистенькие шинельки артиллерийской спецшколы, со скрещенными золотыми пушечками на черных петлицах. Наверное, так же как и Синцов, они давно ничего не ели: у них были похудевшие детские лица и отчаянные глаза. Оба были похожи на галчат, выброшенных из гнезда прямо на дорогу.

— Что вы, ребята? — спросил Синцов, вставая. — Куда идете?

Мальчики ответили, что они ездили в Смоленск, на подготовку к летнему спортивному параду, а сейчас возвращаются к себе в спецшколу, в Борисов.

— А где это? — спросил Синцов. — В самом Борисове?

Они сказали, что нет, еще дальше, шестнадцать километров в сторону Минска.

— По-моему, там сейчас немцы, — сказал Синцов. — Я там вчера был.

Мальчики недоверчиво посмотрели на него, потом один из них отвел глаза. Синцов проследил за его взглядом и увидел в двухстах метрах, на обочине, несколько неподвижных тел, а посреди дороги воронку, которую как раз сейчас объезжала мчавшаяся на восток машина. Когда он вчера заснул, здесь никто не лежал, — значит, ночью совсем близко упала бомба, кого-то убило, а он даже не проснулся.

— Мы думали, вы тоже убиты, — сказал один из мальчиков. — Куда же нам идти?

— Мы все-таки пойдем к себе в школу, — сказал другой. — Не может быть, чтобы там были немцы.

Синцову так и не удалось переубедить их. Они ему не поверили, но очень обрадовались, когда он, нащупав в кармане шинели банку консервов, которую ему вчера дал военюрист, предложил им поесть перед дорогой. В банке оказались кильки, и они втроем съели эти кильки без хлеба и воды.

Мальчики пошли. Синцов еще долго с тревогой смотрел им вслед.

Потом отряхнул шинель, пилотку и пошел по Минскому шоссе, на восток, к Орше.

Кто только не шел в те дни по этому шоссе, сворачивая в лес, отлеживаясь под бомбежками в придорожных канавах, и снова вставая, и снова меряя его усталыми ногами! Особенно много тянулось еврейских беженцев из Столбцов, Барановичей, Молодечно и других городков и местечек Западной Белоруссии. Сейчас, на восьмой день войны, они

были уже за Борисовом, и, значит, тронулись в путь давно, еще в первые сутки... Тысячи людей ехали на невообразимых фурах, дрожках и подводах, ехали старики с пейсами и бородами, в котелках прошлого века, ехали изможденные, рано постаревшие еврейские женщины, ехали дети — на каждой подводе по шесть-восемь-десять маленьких черномазых ребят с быстрыми испуганными глазами. Но еще больше людей шло рядом с подводами.

Среди оборванных старух, стариков и детей особенно странно выглядели на этой дороге молодые женщины в модных пальто, жалких и пропыленных, с модными, сбившимися набок пыльными прическами. А в руках узлы, узелки, узелочки; пальцы судорожно сжаты и дрожат от усталости и голода.

Все это двигалось на восток, а с востока навстречу по обочинам шоссе шли молодые парни в гражданском, с фанерными сундучками, с дерматиновыми чемоданчиками, с заплочными мешками, — шли мобилизованные, спешили добраться до своих заранее назначенных призывных пунктов, не желая, чтоб их сочли дезертирами, шли на смерть, навстречу немцам. Их вели вперед вера и долг; они не знали, где на самом деле немцы, и не верили, что немцы могут оказаться рядом раньше, чем они успеют надеть обмундирование и взять в руки оружие... Это была одна из самых мрачных трагедий тех дней — трагедия людей, которые умирали под бомбежками на дорогах и попадали в плен, не добравшись до своих призывных пунктов.

А по сторонам тянулись мирные леса и рощицы. Синцову в тот день врезалась в память одна простая картина. Под вечер он увидел небольшую деревушку. Она раскинулась на низком холме; темно-зеленые сады были облиты красным светом заката, над крышами изб курились дымки, а по гребню холма, на фоне заката, мальчишки гнали в ночное лошадей. Деревенское кладбище подступало совсем близко к шоссе. Деревня

была маленькая, а кладбище большое — целый холм был в крестах, обломанных, покосившихся, старых, вымытых дождями и снегами. И эта маленькая деревня, и это большое кладбище, и несоответствие между тем и другим — все, вместе взятое, потрясло душу Синцова. Острое и болезненное чувство родной земли, которая где-то там, позади, уже истоптана немецкими сапогами и которая завтра может быть потеряна и здесь, переворачивало сердце. То, что видел Синцов за последние два дня, говорило ему: да, немцы могут прийти и сюда, — и, однако, представить себе эту землю немецкой было невозможно. Такое множество безвестных предков — дедов, прадедов и прапрадедов — легло под этими крестами, один на другом, веками, что эта земля была своей вглубь на тысячу сажен и уже не могла, не имела права стать чужой.

Никогда потом Синцов не испытывал такого изнурительного страха: что же будет дальше?! Если все так началось, то что же произойдет со всем, что он любит, среди чего рос, ради чего жил, со страной, с народом, с армией, которую он привык считать непобедимой, с коммунизмом, который поклялись истребить эти фашисты, на седьмой день войны оказавшиеся между Минском и Борисовом?

Он не был трусом, но, как и миллионы других людей, не был готов к тому, что произошло. Большая часть его жизни, как и жизни этих других людей, прошла в лишениях, испытаниях, борьбе, поэтому, как выяснилось потом, страшная тяжесть первых дней войны не смогла раздавить их души. Но в первые дни эта тяжесть многим из них показалась нестерпимой, хотя они же сами потом и вытерпели ее.

Полтора года назад, когда Синцову вместо демобилизации предложили остаться в кадрах, это не обрадовало его, но он согласился: дивизия, в которую он был призван, стояла на Буге, за Бугом были фашисты, в воздухе пахло войной, и он считал, что коммунисты в таких случаях не отказываются служить в армии.



И вот когда случилось то, во имя чего он остался служить в армии, когда началась война с фашизмом, он вдруг с самого начала оказался не в своей части, не на своем месте, каким-то перекасти-поле, человеком, бессмысленно сующим свои документы, ищущим свою неизвестно где находящуюся редакцию, а теперь в поисках ее даже, как дезертир, бредущим вспять от фронта.

Он и после смерти пограничника все равно твердо решил добираться до Могилева, раз сказано, что там Политуправление фронта. Но если это вранье, он так же твердо решил больше ничего не искать и проситься политруком в первую же стрелковую часть, какую встретит.

С утра он, как и вчера вечером, много раз поднимал руку, но опять ни одна машина так и не остановилась. И он, плюнув и уже не оглядываясь на машины, весь остальной день упрямо шел по шоссе, то отдаваясь своим тяжелым мыслям, то ни о чем не думая, только устало передвигая свинцовые ноги.

Наверное, в конце концов он так и дошел бы пешком до самой Орши, если бы уже вечером возле него не остановился грузовик.

— Куда идете, политрук? — спросил сидевший в кабине полковник.

— В Оршу! — угрюмо сказал Синцов.

— Почему пешком идете?

— Голосовал, да надоело, — все так же угрюмо ответил Синцов. — Не берут, сволочи!

— Да, сволочей хватает, — сказал полковник, — хотя и меньше, чем можно было бы предполагать в такой обстановке. Дайте-ка ваши документы!

Синцов равнодушно протянул полковнику документы. Полковник быстро взглянул на них и отдал обратно.

— Садитесь в кузов.

Через час бешеной езды они оказались в Орше. Машина у полковника была чужая, взятая под честное слово только

до Орши. Он так же, как и Синцов, добирался в Могилев и от Орши рассчитывал доехать до Могилева поездом. Синцов зашел вместе с полковником к коменданту города. Комендатура помещалась в подвале школы. За столами у телефонов сидели обалдевшие от крика майор — комендант города — и еще два майора-железнодорожника.

— Будет ли поезд на Могилев? — спросил полковник.

Комендант, которого он спрашивал, в этот момент, бросив трубку одного телефона, кинулся к другому, но полковник крепкой рукой схватил его за плечо и насильно повернул лицом к себе.

— Отвечайте, я вас спрашиваю: будет ли поезд на Могилев и когда?

— Сейчас, товарищ полковник! — охрипшим голосом сказал майор. — Должен быть... — И кинулся к телефону, по которому его вызывали. Чем дольше он слушал, тем все более ожесточенным делалось его лицо. Наконец он мрачно выругался и швырнул трубку. — Не будет поезда, товарищ полковник! Вот, пожалуйста, извольте радоваться, только что сообщили: разбомбили поезд с боеприпасами. Оба пути разрушены. Не будет никакого поезда на Могилев!

— Ладно, черт с ним, — спокойно сказал полковник Синцову. — Эти все равно сами ничего не знают, все у них только и делает, что летит и рвется, а проехать, наверное, преспокойно можно. Пошли на станцию, там добьемся толку.

Но и на станции толку добиться было не так-то просто: свет не горел, военный комендант и начальник станции говорили таинственным шепотом, что им пока ничего не известно. Наконец полковник поймал какого-то железнодорожника, который тоже шепотом, как о большой тайне, сказал, что на путях за водокачкой формируется товарный состав на Могилев.

— Пошли! — сказал полковник.

Как видно, не только Синцову, но и этому пожилому, опытному, выдавшему виды человеку было одиноко и хоте-

лось человеческого сочувствия. Он рассказал Синцову, что прилетел в Москву из Приволжского военного округа, назначен начальником штаба корпуса, проскочил в поисках своего корпуса до Борисова, чуть не попал в плен к немцам, вчера целый день прокомандовал в бою оставшейся без командира ротой, а сегодня узнал, что его корпус вовсе не здесь, а вышел в район Осиповичи — Бобруйск, поэтому он и едет туда через Могилев.

— Конечно, можно было и дальше ротой командовать, — сказал он сердито, — но порядок должен же быть все-таки! Слава богу, восьмой день воюем, пора в чувство приходиться! Раз я назначен начальником штаба корпуса, значит, я должен прибыть к месту службы, а не просто с винтовкой в цепи лежать. Один болван, когда я передал команду над ротой лейтенанту, еще позволил себе в трусости меня упрекнуть.

— И что же вы? — спросил Синцов.

— Что я? Съездил ему за этого труса по морде, чтоб впредь умней был, и уехал.

Полковник даже побагровел при этом воспоминании, и его без того насупленное усатое лицо стало совсем свирепым.

Они долго бродили среди путей в поисках состава и, как это почти всегда бывает, когда находится уверенный в своих силах и знающий, чего он хочет, человек, постепенно обросли еще десятком людей, по разным причинам желавших добраться до Могилева.

Пока они искали состав, немецкие бомбардировщики налетели на станцию. На забитых станционных путях один за другим заревели паровозы.

На Оршанском узле их стояло несколько десятков. Они ревели, вторя друг другу, выпуская тучи белого пара; рев их был испуганный и чудовищно тоскливый. Он был гораздо страшнее, чем грохот бомбежки, к которому Синцов уже привык за эти дни; казалось, паровозы во весь голос жалуются неиз-

вестно кому: небу или людям, — жалуются и просят помочь, а небо все сыплет и сыплет сверху на черную землю бомбы, разрывающиеся среди домов, рельсов и лежащих на путях людей, оглушенных, злых, несчастных, до глубины души обиженных всем происходящим.

После тревоги добрались до водокачки и, не найдя там никакого состава, все присели отдохнуть на кучах ссыпанного у путей шлака. Никому не хотелось говорить, но невозможно было и молчать: слишком много накопилось у каждого на душе.

— Не думали, не гадали, — печально сказал из темноты кто-то, кого Синцов так и не разглядел в лицо этой ночью.

— Если бы не думали, не гадали, еще бы ладно, — после молчания отозвался полковник. — А то ведь и гадали и думали, а на поверку — ералаш!

— Удивительно много беспорядка! — из темноты откликнулся кто-то, тоже невидимый, тонким удивленным тенором. — Просто удивительно.

— А мой саперный батальон в Белостоке стоял! — сказал густой бас. — Куда он теперь отошел...

— Ищи-свищи! — холодно и резко ответил чей-то злой голос.

Несколько минут все молчали.

— Августовскую катастрофу четырнадцатого года в академиях изучали, над Самсоновым смеялись, а сами обо... — грубо срифмовал тот же холодный, желчный голос, который ответил саперу. — В общем, шапками закидаем, на чужой территории, малой кровью... Ура и так далее, — продолжал он.

— На чужой территории еще будем — зарубите это себе на носу, вы, там, в темноте, не вижу, как вас по званию! — сердито отозвался полковник. — Но что верно, то верно: ералаш большой, бо-ольшой... И главное — самим же придется его расхлебывать!

Это вызвало целый хор ответных замечаний. Кто-то заметил, что мы, русские, долго запрягаем, зато потом быстро ездим. Но его слова не встретили сочувствия.

— Не восемьсот двенадцатый, теперь и запрягать надо поворачиваться! А то прозапрягаемся до Смоленска.

Полковник сказал, что эту поговорку немцы выдумали.

Люди спорили друг с другом, но в их голосах одинаково дрожали злость и обида. Они были подавлены не только совершенно очевидным беспорядком, но еще больше тем, что где-то идут бои, дерутся их части, а они до сих пор еще не попали туда и неизвестно, как попадут!

— А меня вчера чуть как диверсанта не расстреляли! — сказал кто-то. — В зубы наган сунули, как лошади. Я Перекоп брал, а они мне, сволочи, мальчишки, в зубы наган суют!

— Эй вы, августовская катастрофа! — словно вдруг что-то вспомнив, позвал полковник человека с не понравившимся ему холодным голосом. — Вы тоже с нами до Могилева? Свою часть ищите?

Но на этот вопрос никто не откликнулся. Тот, кого спрашивали, то ли не хотел отвечать, то ли ушел... Было слышно, как в темноте люди поворачиваются друг к другу.

— Вроде ушел, — наконец раздался густой голос сапера. — Тут, около меня, сидел.

— Конечно, и паникеры попадают, — после молчания сказал полковник, не то отзываясь на слова сапера, не то отвечая собственным мыслям. — Наган есть кому в зубы сунуть. Только бывает, что не тому суют... Встали! — Он поднялся первым. — Шут их знает, может, у них тут есть еще какая-нибудь водокачка! Пойдем поищем!

Другой водокачки они не нашли, но через час добрались до стрелочника, который, показав на темневшие вдаль, стоявшие без паровоза вагоны, уверенно сказал, что их должны прицепить на Могилев.

Устав от бессмысленного блуждания, все пошли к вагонам. Между товарными вагонами на платформах стояли два новеньких штабных автобуса.

— Погрузимся в автобусы, — сказал полковник, первым влезая на платформу и пробуя открыть дверцу автобуса. Она открылась. — Повезут — так поедем, а не повезут — хоть поспим до утра.

Синцов тоже залез в автобус, сел на новенькое клеенчатое сиденье, обшарил его руками, словно начав сомневаться за эти дни, что еще может существовать что-то новенькое и чистенькое, прислонился головой к холодному оконному стеклу и заснул.

Утром спросонок он никак не мог понять, где находится. Он ехал в автобусе; рядом с ним, на других сиденьях, спали незнакомые военные, а за окнами по обеим сторонам летел зеленый, теплый, солнечный лес. Он подумал, что едет по шоссе, и только потом, вспомнив все пережитое ночью, сообразил, что автобус стоит на платформе, а поезд движется. Стрелочник не обманул: поезд подходил к Могилеву.

Могилевский комендант взял документы Синцова и несколько раз подряд прочитал их воспаленными, красными глазами; должно быть, он так устал, что, читая в первый раз, бессмысленно смотрел на бумагу, второй раз выхватывал из нее только бросившиеся ему в глаза слова и лишь на третий раз начинал понимать все, что написано. Он сказал Синцову, что Политуправление фронта находится в тринадцати километрах от Могилева.

— Через этот мост, что виден там, за окном, и налево по шоссе, на Оршу. Тринадцатый километр, в лесу, там увидите...

Синцову повезло. На мосту ему удалось остановить пикап. С шофером в кабине сидел лейтенант-связист, а кузов пикапа был завален гранатами. Связист довез примостившегося на гранатах Синцова до густого леса, вглубь которого уходило несколько свеженаезженных дорог, и ссадил на опушке.

Синцов углубился в лес. Погода испортилась, шел мелкий дождь. На склонах лесистых холмов, между деревьями, повсюду рыли землянки и щели, кое-где стояли счетверенные зенитные пулеметы. Штаб и Политуправление фронта, кажется, только устраивались здесь. Синцов наткнулся на стоявшего прямо у дороги худощавого дивизионного комиссара в желтом, потемневшем от дождя кожаном пальто, с добрым, красивым лицом и пшеничными усиками. Дивизионный комиссар был похож на Чапаева.

Синцов обратился к нему. Комиссар несколько секунд подержал под дождем отпускной билет Синцова, по которому от упавшей капли поплыл лиловым пятном канцелярский ро-счерк московской отметки.

— Где сейчас ваша редакция, к сожалению, не знаю, — сказал дивизионный комиссар, складывая билет пополам. — Признаюсь, пока еще не знаю даже, где и политотдел вашей Третьей армии. И вообще... — Кажется, он хотел сказать, что вообще не знает, где вся Третья армия, но не сказал этого, а только невесело улыбнулся. — Придется послужить здесь, у нас... — И он протянул документы Синцова не самому Синцову, а стоявшему рядом толстому, румяному батальонному комиссару со знакомым Синцову лицом. — Возьмите политрука к себе, — сказал он. — Турмачев-то у вас выбыл надолго?

Батальонный комиссар подтвердил, что Турмачев выбыл надолго, и, попросив разрешения быть свободным, увел с собой Синцова.

— Ну вот, будете у нас, — через полчаса говорил он Синцову, сидя рядом с ним в спрятанной под елками «эмке».

На полу «эмки» стоял термос, из которого они оба по очереди пили чай, а на коленях у батальонного комиссара лежала газета с горкой ванильных сухарей.

— Еще жена в Москве упаковала, — говорил батальонный комиссар. — Сердился на нее: «Что ты меня снаряжаешь? Я же на армейском довольствии!» — а теперь рад...

Сухари были московские, батальонный комиссар — редактор фронтовой газеты — тоже был московский. В прошлом году Синцов приезжал в Москву на краткосрочные газетные курсы, и батальонный комиссар читал там лекции по отделу партийной жизни. Это был первый хоть немножко знакомый Синцову человек, которого он встретил за последние пять суток; а главное, наконец не надо больше бродить, совать свои документы, выслушивать ответы «не знаю», «неизвестно». Он наконец прибыл в часть, мог не искать ничего другого, оставаться здесь, получать приказания, делать то, для чего ехал на войну.

От всех этих разом нахлынувших чувств Синцов глубоко вздохнул.

— Что это вы?

— Устал скитаться.

— Вообще тяжело, — сказал батальонный комиссар. — Турмачева вчера диверсанты ранили. Вы его не знали?

— Не знал.

— Он когда-то в вашем «Боевом знамени» служил. Ехал ночью на редакционной полуторке сюда, в Политуправление, кто-то остановил с фонарем, стали проверять документы, он достал документы, а его из нагана в бок! И скрылись. Кто? Что? Почему? Газету сегодня выпустили, — внешне перескакивая с одного на другое, а в сущности продолжая говорить о том, как тяжело, сказал батальонный комиссар, — а куда везти, неизвестно! Полевая почта еще не работает, где какие части стоят, пока не знаем. Сегодня с утра рассадил всех работников по машинам и разослал по разным дорогам, чтобы в каждую часть, какую найдут, давали пачку газет. Очень тяжело, — заключил он и приказал, чтобы Синцов ехал в Могилев, шел



в типографию и помогал выпустить номер. — Там сейчас всего три человека: секретарь, машинистка и выпускающий.

— А материал есть? — спросил Синцов.

— Делайте из того, что есть. Я потом приеду. Какой же материал? — пожал плечами батальонный. — Может быть, привезут к вечеру. Газеты раздадут, а материал привезут. А у вас есть какой-нибудь материал? — поднял он глаза на Синцова.

Но Синцов только молча посмотрел на него. «Какой у меня может быть материал! — думал он. — Да, у меня есть материал, да, я видел за эти дни столько, сколько не видал за всю жизнь, но разве можно напечатать все это рядом с той только что записанной по радио сводкой, которую редактор держит на коленях вместе с сухарями?! В сводке написано о больших приграничных сражениях, а я еще три дня назад не мог попасть из Борисова в Минск. Чему же верить: этой сводке или тому, что я видел своими глазами? Или, может быть, правда и то и другое, может быть, там впереди, у границы, на самом деле идут тяжелые, но успешные оборонительные бои, а я просто оказался в полосе немецкого прорыва, обалдел от страха и не могу представить себе того, что происходит в других местах?»

Но если даже правдой было и то и другое, это не меняло дела в газете. На ее страницах принятая по радио сводка претендовала быть единственной правдой! Это было так. И иначе и не могло быть.

— Нет у меня никакого материала, — после долгого молчания сказал Синцов, глядя в глаза редактору, и они оба поняли друг друга.

Синцов возвращался в Могилев уже в темноте на той же самой редакционной полуторке, на которой в предыдущую ночь ранили неизвестного ему Турмачева. Шофер был тот же самый. По дороге он все время говорил о вчерашнем происшествии, и Синцов, когда их задерживали на контрольно-пропускных пунктах, каждый раз, протягивая левой рукой доку-

менты, в правой сжимал наган, который заботливый редактор добыл ему в Политуправлении.

За ночь в старой могилевской типографии с грехом пополам сверстали и выпустили очередной номер фронтовой газеты. Половину ее заняли две последние сводки Информбюро, напечатанные крупным шрифтом, чтобы занять побольше места. Остальной материал к середине ночи кое-как собрался от развозивших вчерашний номер корреспондентов. Все это были короткие заметки о разных случаях героизма, взятых из рассказов людей, или неделю отступавших с боями, или только что прорвавшихся из немецкого окружения. Сначала под пером корреспондентов, а потом под красным карандашом Синцова, приводившего заметки в соответствие со сводками, из них постепенно исчезало все, что могло дать представление о том, в каких местах сейчас шли бои. В соседстве со сводками, говорившими о продолжавшихся приграничных сражениях, эти заметки приобретали, пожалуй, даже успокоительный характер. Люди дрались, проявляли мужество, убивали фашистов. Где? Об этом говорили сводки.

Даже из самых скупых рассказов вернувшихся за ночь в редакцию корреспондентов Синцов уже знал: то, что он видел на Минском шоссе, происходило не только там. Немцы прорвались во многих местах. Обстановка, во всяком случае на Западном фронте, была тяжелой, неясной, и не фронтовой газете было раскрывать ее! Это он понимал и действовал своим красным карандашом без колебаний. Не понимал он другого: как все это могло произойти? Не понимал и мучился вопросом: неужели, несмотря ни на что, мы не переломим положения в ближайшие же дни? Все, что видели его глаза, казалось, говорило: нет, не переломим! Но душа его не могла смириться с этим, она верила в другое! И хотя он вправе был верить своим глазам, вера его души была сильнее всех очевидностей. Он не пережил бы тех дней без этой веры, с которой

незаметно для себя, как и миллионы других военных и невоенных людей, втянулся в четырехлетнюю войну.

Уже под утро, перед тем как пускать номер в машину, Синцов еще раз тупо вычитал все — строчку за строчкой — и только после этого, подстелив шинель, лег спать на прохладном каменном полу типографии. Старенькие печатные машины натужно гудели, пол чуть-чуть содрогался под головой.

Засыпая, Синцов подумал о дочери и с бессильной яростью представил себе, что теперь, когда он попал в другую газету и на другой участок фронта, что-нибудь узнать о ней будет и вовсе не в его силах. Во всяком случае, до тех пор, пока все не переменится самым крутым образом...

## 2

Утром четыре редакционные полуторки выехали из ворот типографии. В каждой сидели по два корреспондента и лежало по десять пачек газет из только что отпечатанного тиража. Способ распространения оставался вчерашний: везти газеты по разным дорогам, раздавать всем, кто встретится, и попутно собирать материал для следующего номера.

Синцов, проспавший на полу типографии всего три часа, да и то в два приема, потому что его разбудил приехавший под утро редактор, поднялся совсем одурелый, ополоснул под краном лицо, затянул ремень, вышел во двор, сел в кабину грузовика и окончательно проснулся только у выезда на Бобруйское шоссе. В небе ревели самолеты, сзади, над Могилевом, шел воздушный бой: немецкие бомбардировщики пикировали на мост через Днепр, а прикрывавшие их истребители — семь или восемь — высоко в небе дрались с тройкой поднявшихся с могилевского аэродрома наших курносых «ястребков».

Синцов слышал, что в Испании и Монголии эти «ястребки» расправлялись с немецкими, итальянскими и японскими истребителями. И здесь сначала загорелся и упал один «мес-

сершмитт». Но потом, кувыркаясь, стали падать сразу два наших истребителя. В воздухе остался один, последний.

Синцов остановил машину, вылез, еще с минуту следил за тем, как наш истребитель кружился между немецкими. Потом они все вместе исчезли за облаками, а бомбардировщики продолжали с ревом пикировать на мост, в который они, кажется, никак не могли попасть.

— Ну как, поехали? — спросил Синцов своего спутника, сидевшего в кузове на пачках газет, младшего политрука с девичьей фамилией Люсин.

Этот Люсин был высокий, ловкий, румяный красавец со светлым чубом, выбивавшимся из-под новенькой щегольской фуражки. В хорошо пригнанном обмундировании, затянутый в новенькие ремни, с новеньким, привычно висевшим у него на плече карабином, он выглядел самым военным из всех военных людей, которых встречал за последние дни Синцов, и Синцов был рад, что ему повезло со спутником.

— Как прикажете, товарищ политрук! — отозвался Люсин, приподнимаясь и прикладывая пальцы к фуражке.

Синцов еще ночью, когда они вместе выпускали газету, обратил внимание на редкое в среде военных газетчиков старание Люсина держаться подчеркнуто по-строевому.

— Только я, пожалуй, тоже в кузов сяду, — сказал Синцов.

Но Люсин вежливо запротестовал:

— Я бы не посоветовал, товарищ политрук! Старшему по команде положено в кабине ехать, а то неудобно даже. Машину задержать могут... — И он снова приложил пальцы к фуражке.

Синцов сел в кабину, и машина тронулась. И полуторка и шофер были все те же, с которыми он возвращался вчера в Могилев из штаба фронта. Он, собственно, и в кузов-то хотел пересесть, боясь, как бы шофер снова не стал развлекать его разговорами про диверсантов. Но шофер сидел за рулем

насупясь и не говорил ни слова. То ли он не выспался, то ли ему не нравилась эта поездка в сторону Бобруйска.

Синцов, наоборот, был в приподнятом настроении. Редактор ночью рассказал, что наши части за Березиной, на подступах к Бобруйску, вчера потрепали немцев, и Синцов надеялся побывать там сегодня.

Его, как и многих других не трусливых от природы людей, встретивших и перестрадавших первые дни войны в сумятице и панике прифронтовых дорог, с особенной силой тянуло теперь вперед, туда, где дрались.

Правда, редактор не мог толком объяснить, ни какие именно части потрепали немцев, ни где точно это было, но Синцов по неопытности и не особенно тревожился этим. Он взял с собой карту, по которой редактор неопределенно поводил пальцем вокруг Бобруйска, и сейчас ехал, рассматривая ее и прикидывая, сколько времени им ехать вот так, по тридцать километров в час. Выходило — примерно часа три.

Сначала сразу за Могилевом пошли поля с перелесками. Сплошная зелень была во многих местах перерезана то широкими, то узкими рыжими отвалами земли: по обеим сторонам шоссе рыли противотанковые рвы и окопы. Почти все работавшие были в гражданском платье. Только иногда среди рубах и платков мелькали гимнастерки распорядившихся работами саперов.

Потом машина въехала в густой лес. И сразу кругом стало безлюдно и тихо. Полуторка шла и шла по лесу, а навстречу не попадалось никого: ни людей, ни машин. Сначала это не особенно тревожило Синцова, но потом начало казаться ему странным. Под Могилевом был штаб фронта, за Бобруйском шли бои с немцами, и он считал, что между этими двумя пунктами должны стоять штабы и войска, а значит, должно происходить и движение машин.

Но вот они проехали уже полдороги, потом еще десять километров и еще десять, а шоссе по-прежнему было пустынно.

Наконец грузовик Синцова чуть не столкнулся на перекрестке с «эмочкой», выезжавшей с лесной дороги. Синцов открыл кабину и помахал рукой. «Эмочка» остановилась. В ней оказался пехотный капитан, он назвался адъютантом командира стрелкового корпуса. Синцов решил поехать вместе с ним и раздать газету в частях корпуса — пока что все пачки лежали нетронутыми в грузовике. Но адъютант поспешно ответил, что он был в отлучке, а корпус тем временем куда-то переместился. Он сам теперь ищет свой корпус, так что ехать вместе с ним бессмысленно, пусть лучше ему дадут несколько пачек газет в «эмку», — когда он найдет корпус, он их сам раздаст. Люсин достал из кузова две пачки, капитан бросил их на заднее сиденье, и «эмка», газанув, скрылась за деревьями, а полуторка поехала дальше к Бобруйску.

Над дорогой несколько раз прошли «мессершмитты». Лес подступал вплотную к шоссе, и они выносились из-за верхушек деревьев так мгновенно, что Синцов только раз успел выскочить из машины. Но немцы не обстреливали полуторку, — наверно, у них были дела поважнее.

До Березины, судя по карте, оставалось всего десять километров. Раз бои идут на той стороне, за Бобруйском, значит, по эту сторону реки должны стоять хоть какие-нибудь тылы или вторые эшелоны. Синцов, поворачивая голову то вправо, то влево, напряженно всматривался в гущу леса.

Непонятная пустынность шоссе все больше действовала ему на нервы.

Вдруг шофер резко затормозил.

На пересечении с узкой, далеко к горизонту уходившей просекой на обочине шоссе стоял красноармеец без винтовки, с двумя гранатами у пояса.

Синцов спросил у него, откуда он и нет ли поблизости кого-нибудь из командиров.

Красноармеец сказал, что он прибыл с лейтенантом в составе команды из двадцати человек еще вчера на грузовике из

Могилева и поставлен здесь на пост — задерживать идущих с запада одиночек и направлять их налево по просеке, к лесничеству, где лейтенант формирует часть.

Из дальнейших расспросов выяснилось, что он стоит здесь со вчерашнего вечера, что винтовки им выдали в Могилеве через одного: «На первый, второй рассчитайсь!»; что сначала они стояли вдвоем, но под утро его напарник исчез; что за это время он направил в лесничество человек шестьдесят одиночек, но о нем самом, наверно, забыли: никто не сменял его, и он ничего не ел со вчерашнего дня.

Синцов отдал ему половину набитых в полевую сумку сухарей и приказал шоферу ехать дальше.

Еще через километр машину остановили двое выскочивших из лесу милиционеров в серых прорезиненных плащах.

— Товарищ командир, — сказал один из них, — какие будут приказания?

— Какие приказания? — удивленно переспросил Синцов. — У вас есть свое начальство!

— Нет у нас своего начальства, — сказал милиционер. — Послали позавчера сюда, в лес, парашютистов ловить, если сбросятся, а какие же теперь парашютисты, когда немцы уже через Березину переправились!

— Кто это вам сказал?

— Люди сказали. Да вон уже и артиллерия... Не слышите разве?

— Не может быть! — сказал Синцов, хотя, когда он прислушался, ему самому показалось, что впереди слышен гул артиллерии. — Вранье! — успокаивая сам себя, отрезал он тоном, в котором было больше упрямства, чем уверенности.

— Товарищ начальник, — сказал милиционер, лицо у него было бледное и полное решимости, — вы, наверное, в свою часть едете, возьмите с собой, зачислите бойцами! Что ж нам, тут дожидаться, когда фашист на сук вздернет! Или форму снимать?

Синцов сказал, что он действительно ищет какую-нибудь часть и если милиционеры хотят ехать с ним, пусть садятся в кузов.

— А куда вы едете? — спросил милиционер.

— Туда. — Синцов неопределенно показал рукой вперед. Теперь он и сам уже не знал, куда и до каких пор поедет.

Говоривший с Синцовым милиционер поставил ногу на колесо. Второй дернул его сзади за плащ и стал что-то шептать ему, — очевидно, он не хотел ехать в сторону Бобруйска.

— А, иди ты!.. — огрызнулся первый милиционер, брезгливо рванулся и, толкнув товарища сапогом в грудь, перемахнул через борт машины.

Машина тронулась. Второй милиционер растерянно стоял, пока мимо него проезжал кузов машины, потом отчаянно махнул рукой, побежал за машиной, схватился за борт и уже на ходу перевалился через него всем телом. Остаться одному было еще страшней, чем ехать вперед.

Над лесом с медленным густым гулом проплыли шесть громадных ночных четырехмоторных бомбардировщиков ТБ-3. Казалось, они не летели, а ползли по небу. Рядом с ними не было видно ни одного нашего истребителя. Синцов с тревогой подумал о только что шнырявших над дорогой «мессершмиттах», и ему стало не по себе. Но бомбардировщики спокойно скрылись из виду, и через несколько минут впереди послышались разрывы тяжелых бомб.

Судя по промелькнувшему дорожному указателю, до Березины оставалось всего четыре километра. Теперь Синцов был убежден, что вот-вот они встретят наши части, не могло же, в конце концов, никого не оказаться на этом берегу Березины.

Вдруг из лесу выскочили несколько человек и стали отчаянно махать руками. Шофер вопросительно посмотрел на Синцова, но Синцов ничего не сказал, и машина продолжала двигаться. Люди, выскочившие на дорогу, что-то кричали вслед, рупором прикладывая руки.



— Остановитесь! — сказал Синцов шоферу.

К машине подбежал запыхавшийся сержант-сапер и спросил у Синцова, куда идет машина.

— В Бобруйск.

Сержант вытер струившийся по лицу пот и, судорожно глотая слюну, так, что у него перекатывалось адамово яблоко, ответил, что немцы уже переправились на этот берег Березины.

— Какие немцы?

— Танки...

— Где?

— Да метров семьсот отсюда. Только сейчас у нас с ними бой был! — показал сержант рукой вперед. — Мы двигались командой по маршруту к полосе минирования, а они из танка огонь открыли, одним снарядом десять человек убили. Вот нас всего... — он растерянно посмотрел на стоявших рядом красноармейцев, — всего семь осталось... Хоть бы взрывчатка или гранаты с собою были, а то что из нее танку сделаешь?! — Сержант в сердцах стукнул о землю прикладом винтовки.

Синцов все еще колебался, не веря, что немцы в самом деле так близко, но мотор грузовика заглох — и сразу стала отчетливо слышна сильная пулеметная стрельба слева от дороги, совсем рядом, несомненно, уже на этой стороне Березины.

— Товарищ политрук! — Люсин впервые за всю поездку подал голос из кузова. — Разрешите обратиться? Может, повернем до выяснения?

На его обычно румяном, а сейчас бледном лице был написан страх, который, однако, не помешал ему обратиться к Синцову по всей форме.

— Повернули, — сказал Синцов, в свою очередь бледнея.

До сих пор ему не приходило в голову, что еще полкилометра, километр — и они заедут в плен к немцам! Шофер с грохотом выжал сцепление, развернул машину, и перед Синцовым мелькнули растерянные лица оставленных им на дороге бойцов.

— Стой! — устыдясь собственной слабости, заорал он и сжал плечо шофера с такой силой, что тот охнул от боли. — Лезьте в кузов! — высовываясь из кабины, крикнул Синцов красноармейцам. — Поедете со мной.

Несмотря на полтора года службы в военной газете, он, в сущности, впервые в жизни приказывал сейчас другим по праву человека, у которого оказалось больше, чем у них, кубиков на петлицах. Красноармейцы один за другим попрыгали в кузов, последний замешкался. Товарищи стали подтягивать его вверх на руках, и Синцов только теперь увидел, что тот ранен: одна нога обута в сапог, а другая, разутая, вся в крови.

Синцов выскочил из кабины и приказал посадить раненого на свое место. Почувствовав, что его приказаний слушаются, он продолжал приказывать, и его слушались снова. Красноармейца пересадили в кабину, а Синцов перелез в кузов. Шофер, подгоняемый все отчетливее слышной пулеметной стрельбой, погнал машину назад, к Могилеву.

— Самолеты! — испуганно крикнул один из красноармейцев.

— Наши, — сказал другой.

Синцов поднял голову. Прямо над дорогой, на сравнительно небольшой высоте, шли обратно три ТБ-3. Наверно, бомбежка, которую слышал Синцов, была результатом их работы. Теперь они благополучно возвращались, медленно набирая потолок, но острое предчувствие несчастья, которое охватило Синцова, когда самолеты шли в ту сторону, не покидало его и теперь.

И в самом деле, откуда-то сверху, из-за редких облаков, выпрыгнул маленький, быстрый, как оса, «мессершмитт» и с пугающей скоростью стал догонять бомбардировщики.

Все ехавшие в полуторке, молча вцепившись в борта, забыв о себе и собственном, только что владевшем ими страхе, забыв обо всем на свете, с ужасным ожиданием смотрели в небо.

«Мессершмитт» вкось прошел под хвост заднего, отставшего от двух других бомбардировщика, и бомбардировщик задымился так мгновенно, словно поднесли спичку к лежавшей в печке бумаге. Он продолжал еще идти, снижаясь и все сильнее дымя, потом повис на месте и, прочертив воздух черной полосой дыма, упал на лес.

«Мессершмитт» тонкой стальной полоской сверкнул на солнце, ушел вверх, развернулся и, визжа, зашел в хвост следующего бомбардировщика. Послышалась короткая трескотня пулеметов. «Мессершмитт» снова взмыл, а второй бомбардировщик полминуты тянул над лесом, все сильнее кренясь на одно крыло, и, перевернувшись, тяжело рухнул на лес вслед за первым.

«Мессершмитт» с визгом описал петлю и по косой линии, сверху вниз, понесся к хвосту третьего, последнего, ушедшего вперед бомбардировщика. И снова повторилось то же самое. Еле слышный издали треск пулеметов, тонкий визг выходящего из пике «мессершмитта», молчаливо стелющаяся над лесом длинная черная полоса и далекий грохот взрыва.

— Еще идут! — в ужасе крикнул сержант, прежде чем все опомнились от только увиденного.

Он стоял в кузове и странно размахивал руками, словно хотел остановить и спасти от беды показавшуюся сзади над лесом вторую тройку шедших с бомбежки машин.

Потрясенный Синцов смотрел вверх, вцепившись обеими руками в портупею; милиционер сидел рядом с ним, молитвенно сложив руки: он умолял летчиков заметить, поскорее заметить эту вьющуюся в небе страшную стальную осу!

Все, кто ехал в грузовике, молили их об этом, но летчики или ничего не замечали, или видели, но ничего не могли сделать. «Мессершмитт» свечой ушел в облака и исчез. У Синцова мелькнула надежда, что у немца больше нет патронов.

— Смотри, второй! — сказал милиционер. — Смотри, второй!

И Синцов увидел, как уже не один, а два «мессершмитта» вынырнули из облаков и вместе, почти рядом, с невероятной скоростью догнав три тихоходные машины, прошли мимо заднего бомбардировщика. Он задымил, а они, весело взмыв кверху, словно радуясь встрече друг с другом, разминулись в воздухе, поменялись местами и еще раз прошли над бомбардировщиком, сухо треща пулеметами. Он вспыхнул весь сразу и стал падать, разваливаясь на куски еще в воздухе.

А истребители пошли за другими. Две тяжелые машины, стремясь набрать высоту, все еще упрямо тянули и тянули над лесом, удаляясь от гнавшегося вслед за ними по дороге грузовика с людьми, молчаливо сгрудившимися в едином порыве горя.

Что думали сейчас летчики на этих двух тихоходных ночных машинах, на что они надеялись? Что они могли сделать, кроме того, чтобы вот так тянуть и тянуть над лесом на своей безысходно малой скорости, надеясь только на одно — что враг вдруг зарвется, не рассчитает и сам сунется под их хвостовые пулеметы.

«Почему не выбрасываются на парашютах? — думал Синцов. — А может, у них там вообще нет парашютов?»

Стук пулеметов на этот раз послышался раньше, чем «мессершмитты» подошли к бомбардировщику: он пробовал отстреливаться. И вдруг почти вплотную пронесшийся рядом с ним «мессершмитт», так и не выходя из пике, исчез за стеною леса. Все произошло так мгновенно, что люди на грузовике даже не сразу поняли, что немец сбит; потом поняли, закричали от радости и сразу оборвали крик: второй «мессершмитт» еще раз прошел над бомбардировщиком и зажег его. На этот раз, словно отвечая на мысли Синцова, из бомбардировщика один за другим вывалилось несколько комков, один камнем промелькнул вниз, а над четырьмя другими раскрылись парашюты.

Потерявший своего напарника немец, мстительно потрепывая из пулеметов, стал описывать круги над парашютистами. Он расстреливал висевших над лесом летчиков — с грузовика были слышны его короткие очереди. Немец экономил патроны, а парашютисты спускались над лесом так медленно, что, если бы все ехавшие в грузовике были в состоянии сейчас посмотреть друг на друга, они бы заметили, как их руки делают одинаковое движение: вниз, вниз, к земле!

«Мессершмитт», круживший над парашютистами, проводил их до самого леса, низко прошел над деревьями, словно высматривая что-то еще на земле, и исчез.

Шестой, последний бомбардировщик растаял на горизонте. В небе больше ничего не было, словно вообще никогда не было на свете этих громадных, медленных, беспомощных машин; не было ни машин, ни людей, сидевших в них, ни трескотни пулеметов, ни «мессершмиттов», — не было ничего, было только совершенно пустое небо и несколько черных столбов дыма, начинавших расползаться над лесом.

Синцов стоял в кузове несшегося по шоссе грузовика и плакал от ярости. Он плакал, слизывая языком стекавшие на губы соленые слезы и не замечая, что все остальные плачут вместе с ним.

— Стой, стой! — первым опомнился он и забарабанил кулаком по крыше кабины.

— Что? — высунулся шофер.

— Надо искать! — сказал Синцов. — Надо искать, — может, они все-таки живы, эти, на парашютах...

— Если искать, то еще немножко проехать надо, товарищ начальник, их дальше отнесло, — сказал милиционер; лицо его вспухло от слез, как у ребенка.

Они проехали еще километр, остановились и слезли с машины. Все помнили о переправившихся через Березину немцах и в то же время забыли о них. Когда Синцов приказал

разделиться и идти искать летчиков по обе стороны дороги, никто не стал спорить.

Синцов, двое милиционеров и сержант долго ходили по лесу, справа от дороги, кричали, звали, но так никого и не обнаружили — ни парашютов, ни летчиков. А между тем летчики упали где-то здесь, в этом лесу, и их надо было непременно найти, потому что иначе их найдут немцы! Только после часа упорных и безуспешных поисков Синцов наконец вышел обратно на дорогу.

Люсин и все остальные уже стояли у машины. Лицо у Люсина было расцарапано, гимнастерка разорвана, а карманы ее так туго набиты, что на одном даже оторвалась пуговица. В руке он держал пистолет.

— Убили, товарищ политрук, обоих до смерти, — горестно сказал Люсин и потер рукой расцарапанное лицо.

— Что с вами?

— На сосну лазил. Зацепился один, бедный, за самую верхушку, так и висел вверх ногами, мертвый, еще в воздухе его убили.

— А второй?

— И второй.

— Издевается фашист над людьми! — с ненавистью сказал один из красноармейцев.

— Документы забрал. — Люсин дотронулся до кармана с оторванной пуговицей. — Передать вам?

— Оставьте у себя.

— Тогда пистолет возьмите. — Люсин протянул Синцову маленький браунинг.

Синцов посмотрел на браунинг и сунул его в карман.

— А вы не нашли, товарищ политрук? — спросил Люсин.

— Нет.

— А мне сдается, тех, что по правую руку спустились, их еще дальше отнесло, — сказал Люсин. — Надо подъехать еще метров четырехста, слезть и цепью прочесать лес.

Но прочесывать лес не пришлось. Когда машина прошла еще четыреста метров и остановилась, навстречу ей из лесу, сгибаясь под тяжестью ноши, вышел коренастый летчик в гимнастерке и надвинутом на самые глаза летном шлеме. Он тащил на себе второго летчика, в комбинезоне; руки раненого обнимали шею товарища, а ноги волочились по земле.

— Примите, — коротко сказал летчик.

Люсин и подскочившие красноармейцы приняли с его плеч раненого и положили на траву у дороги. У него были прострелены обе ноги, он лежал на траве, тяжело дыша, то открывая, то снова зажмуривая глаза. Пока расторопный Люсин, разрезав перочинным ножом сапоги и комбинезон, перевязывал раненого индивидуальным пакетом, коренастый летчик, сняв шлем, вытирал пот, градом катившийся по лицу, и поводил занемевшими от ноши плечами.

— Видели? — угрюмо спросил он наконец, вытерев пот, снова надев шлем и так глубоко надвинув его, словно и сам не хотел ни на кого смотреть и не хотел, чтобы кто-нибудь видел его глаза.

— Прямо над нами... — сказал Синцов.

— Видели, как сталинских соколов, как слепых котят... — начал летчик. Голос его горько дрогнул, но он пересилил себя и, ничего не добавив, еще глубже надвинул шлем.

Синцов молчал. Он не знал, что ответить.

— Одним словом, переправу разбомбили, мост вместе с танками под воду пустили, задание выполнили, — сказал летчик. — Хоть бы один истребитель на всех дали в прикрытие!

— Ваших двух товарищей нашли, но они мертвые, — сказал Синцов.

— Мы тоже уже не живые, — сказал летчик. — Документы и оружие с них взяли? — добавил он совсем другим тоном, тоном человека, решившего взять себя в руки и умевшего это делать.

— Взяли, — сказал Синцов.

— Лучший штурман полка по слепым и ночным полетам, — сказал летчик, повернувшись к раненому, которого перевязывал Люсин. — Мой штурман! Лучший экипаж в полку был, отдали на съедение ни за грош! — опять срываясь в рыдание, крикнул он и, так же мгновенно, как и в первый раз, взяв себя в руки, деловито спросил: — Поехали?

Раненого штурмана положили в кузов, к задней стенке кабины, чтобы меньше трясло, и подложили ему под ноги кипы газет. Летчик сел рядом со своим штурманом, в головах. Потом сели все остальные. Машина тронулась и почти сразу же круто затормозила.

Это был тот перекресток, где Синцов недавно делился сухарями с часовым. Красноармеец по-прежнему стоял здесь. Увидев возвращавшуюся машину, он выскочил на середину дороги, размахивая гранатой так, словно собирался бросить ее под грузовик.

— Товарищ политрук, — спросил он Синцова голосом, от которого у того похолодело внутри, — товарищ политрук, что же это? Вторые сутки не сменяют... Неужели не будет другого приказа, товарищ политрук?

И Синцов понял: если твердо ответить ему, что другого приказа не будет, что его придут и сменят, он останется и будет стоять. Но кто поручится, что его действительно придут и сменят.

— Я снимаю вас с поста, — сказал Синцов, пытаюсь вспомнить, как назло, выскочившую из головы формулу, при помощи которой старший начальник может снять с поста часового. — Я снимаю вас с поста, потом доложите! — повторил он, не вспомнив ничего другого и боясь, что из-за неточно отданного приказа красноармеец не послушается его, останется на посту и погибнет. — Садитесь, поедете со мной!

Красноармеец облегченно вздохнул, прицепил гранату к поясу и полез в кузов машины.



Едва машина тронулась снова, как в небе показались шедшие к Бобруйску еще три ТБ-3. На этот раз их сопровождал наш истребитель. Он высоко взмывал в небо и снова проносился над ними, соразмеряя с их медленным движением свою двойную скорость.

— Хоть эту тройку сопровождают, — сказал Синцову летчик со сбитого бомбардировщика; в его голосе было отрешенное от собственной беды чувство облегчения.

Но не успел Синцов ответить, как из облаков вынырнули два «мессершмитта». Они понеслись к бомбардировщикам, наш истребитель развернулся им навстречу, на встречных курсах свечкой пошел вверх, перевернулся через крыло и, пронесшись мимо одного из «мессершмиттов», зажег его.

— Горит, горит! — закричал летчик. — Смотрите, горит!

Мстительная радость овладела людьми, сидевшими в машине. Даже шофер, оставив на баранке одну руку, высунулся всем телом из кабины. «Мессершмитт» падал, из него вывалился немец, высоко в небе раскрыв купол парашюта.

— Сейчас и второго собьет, — крикнул летчик, — вот увидишь! — Сам не замечая этого, он все время тряс Синцова за руку.

«Ястребок» круто набирал высоту, но второй немец вдруг почему-то оказался уже над ним; снова раздался стук пулеметов, «мессершмитт» вынесся вверх, а наш истребитель, дымя, пошел вниз. От него оторвался черный комочек и с почти неуловимой для глаз быстротой стал падать все ниже и ниже, и лишь над самыми верхушками сосен, когда, казалось, уже все пропало, наконец раскрылся парашют. «Мессершмитт» сделал в небе широкий спокойный разворот и пошел к Бобруйску вслед за бомбардировщиками.

Летчик вскочил на ноги в кузове, он ругался страшными словами и махал руками, слезы текли по его лицу. Синцов видел все это уже пять раз и сейчас отвернулся, чтобы больше не видеть. Он только слышал, как снова издали донесся стук

пулеметов, как летчик, скрипнув зубами, в отчаянии сказал «готов» и, закрыв руками лицо, бросился на доски кузова.

Синцов приказал остановить машину. Немецкий парашют еще болтался высоко над головами, наш летчик уже опустился, и на глаз казалось — недалеко, километра за два в сторону Бобруйска.

— Пойдите в лес, поймайте этого фашиста! — сказал Синцов Люсину. — Возьмите с собой бойцов.

— Живым взять? — деловито спросил Люсин.

— Как выйдет.

Синцову было все равно, живым или неживым возьмут немца, хотелось только одного — чтобы, когда сюда придут другие фашисты, он не встретился с ними!

Обоих раненых — штурмана и сидевшего в кабине красноармейца — выгрузили из машины и положили под деревом: охранять их оставили того бойца с гранатами, которого Синцов снял с поста. «Что бы ни случилось, он не бросит раненых», — подумал Синцов.

Люсин, сержант и остальные красноармейцы пошли в лес ловить немца, а Синцов, взяв с собой летчика и двух милиционеров, погнал машину назад.

Они снова ехали к Бобруйску, напряженно глядя по сторонам, надеясь заметить парашют прямо с машины; им казалось, что он опустился совсем рядом с дорогой.

В это время летчик, которого они искали, действительно лежал в ста шагах от дороги, на маленькой лесной полянке. Не желая, чтобы немцы расстреляли его в воздухе, он хладнокровно затянул прыжок, но не рассчитал до конца и выдернул кольцо парашюта на секунду позднее, чем следовало. Парашют раскрылся почти у самой земли, и летчик сломал обе ноги и ударился о пень позвоночником. Теперь он лежал возле этого пня, зная, что все кончено: тело ниже пояса было чужое, парализованное, он не мог даже ползти по земле. Он лежал на боку и, харкая кровью, смотрел в небо. Сбивший

его «мессершмитт» погнался за беззащитными теперь бомбардировщиками; в небе уже был виден один дымный хвост.

На земле лежал человек, никогда особенно не боявшийся смерти. За свою недолгую жизнь он не раз бестрепетно думал о том, что когда-нибудь его могут сбить или сжечь точно так же, как он сам много раз сбивал и сжигал других. Однако несмотря на его вызывавшее зависть товарищей природное бесстрашие, сейчас ему было страшно до отчаяния.

Он полетел сопровождать бомбардировщики, но на его глазах загорелся один из них, а два других ушли к горизонту, и он уже ничем не мог им помочь. Он считал, что лежит на территории, занятой немцами, и со злобой думал о том, как фашисты будут стоять над ним и радоваться, что он мертвый валяется у их ног, он, человек, о котором начиная с тридцать седьмого года, с Испании, десятки раз писали газеты! До сих пор он гордился, а порой и тщеславился этим. Но сейчас был бы рад, если бы о нем никогда и ничего не писали, если б фашисты, придя сюда, нашли тело того никому не известного старшего лейтенанта, который четыре года назад сбил свой первый «фоккер» над Мадридом, а не тело генерал-лейтенанта Козырева. Он со злобой и отчаянием думал о том, что, даже если у него достанет сил порвать документы, все равно немцы узнают его и будут расписывать, как они задешево сбили его, Козырева, одного из первых советских асов.

Он впервые в жизни проклинал тот день и час, которым раньше гордился, когда после Халхин-Гола его вызвал сам Сталин и, произведя из полковников прямо в генерал-лейтенанты, назначил командовать истребительной авиацией целого округа.

Сейчас, перед лицом смерти, ему некому было лгать: он не умел командовать никем, кроме самого себя, и стал генералом, в сущности оставаясь старшим лейтенантом. Это подтвердилось с первого же дня войны самым ужасным образом, и не только с ним одним. Причиной таких молниеносных возвы-

шений, как его, были безупречная храбрость и кровью заработанные ордена. Но генеральские звезды не принесли ему умения командовать тысячами людей и сотнями самолетов.

Полумертвый, изломанный, лежа на земле, не в силах двинуться с места, он сейчас впервые за последние, кружившие ему голову годы чувствовал весь трагизм происшедшего с ним и всю меру своей невольной вины человека, бегом, без оглядки взлетевшего на верхушку длинной лестницы военной службы. Он вспоминал о том, с какой беспечностью относился к тому, что вот-вот начнется война, и как плохо командовал, когда она началась. Он вспоминал свои аэродромы, где половина самолетов оказалась не в боевой готовности, свои сожженные на земле машины, своих летчиков, отчаянно взлетающих под бомбами и гибнувших, не успев набрать высоту. Он вспоминал свои собственные противоречивые приказания, которые он, подавленный и оглушенный, отдавал в первые дни, мечась на истребителе, каждый час рискуя жизнью и все-таки почти ничего не успевая спасти.

Он вспомнил сегодняшнюю предсмертную радиограмму с одного из этих пошедших бомбить переправу и сожженных ТБ-3, которых нельзя, преступно было посылать днем без прикрытия истребителей и которые все же сами вызвались и полетели, потому что разбомбить переправу требовалось во что бы то ни стало, а истребителей для прикрытия уже не было.

Когда на могилевском аэродроме, где он сел, сбив по дороге встретившийся ему в воздухе «мессершмитт», он услышал в радионаушниках хорошо знакомый голос майора Ищенко, старого товарища еще по Елецкой авиашколе: «Задание выполнили. Возвращаемся. Четверых сожгли, сейчас будет жечь меня. Гибнем за родину. Прощайте! Передайте благодарность Козыреву за хорошее прикрытие!» — он схватился руками за голову и целую минуту сидел неподвижно, преодолевая желание здесь же, в комнате оперативного дежурного, вытащить пистолет и застрелиться. Потом он спросил, пойдут

ли еще на бомбежку ТБ-3. Ему сказали, что мост разбит, но есть приказ разбить еще и пристань с переправочными средствами; ни одной эскадрильи дневных бомбардировщиков по-прежнему нет под рукой, поэтому еще одна тройка ТБ-3 поднялась в воздух.

Выскочив из дежурки, никому ничего не сказав, он сел в истребитель и взлетел. Когда, вынырнув из облаков, он увидел шедшие внизу бомбардировщики, целые и невредимые, это была одна из немногих минут счастья за все последние дни. А еще через минуту он уже вел бой с «мессершмиттами», и этот бой кончился тем, что его все-таки сбили.

С первого же дня войны, когда почти все недавно полученные округом новые истребители, МиГи, были сожжены на аэродромах, он пересел на старый И-16, доказывая личным примером, что и на этих машинах можно драться с «мессершмиттами». Драться было можно, но трудно — не хватало скорости.

Он знал, что не сдастся в плен, и колебался только, когда застрелиться — попробовать сначала убить кого-нибудь из немцев, если они близко подойдут, или застрелиться заранее, чтобы не впасть в забвение и не оказаться в плену, не успев покончить с собой.

В его душе не было предсмертного ужаса, была лишь тоска, что он никогда не узнает, как все будет дальше. Да, война застала врасплох; да, не успели перевооружиться; да, и он, и многие другие сначала плохо командовали, растерялись. Но страшной мысли, что немцы и дальше будут бить нас так, как в первые дни, противилось все его солдатское существо, его вера в свою армию, в своих товарищей, наконец, в самого себя, все-таки прибавившего сегодня еще двух фашистов к двадцати девяти, сбитым в Испании и Монголии. Если б его не сбили сегодня, он бы им еще показал! И им еще покажут! Эта страстная вера жила в его разбитом теле, а рядом с ней неотвязной тенью стояла черная мысль: «А я уже никогда этого не увижу».

Жена его, которая, как это свойственно мелким душам, преувеличивала свое место в его жизни, никогда бы не поверила, что он в свой смертный час не думал о ней. Но это было так, и не потому, что он не любил, — он продолжал любить ее, — а просто потому, что он думал совсем о другом. И это было такое великое несчастье, рядом с которым просто не умещалось маленькое и нестрашное в эту минуту горе — никогда не увидеть больше прекрасного лживого лица.

Говорят, человек перед смертью вспоминает всю свою жизнь. Может быть, и так, но он вспоминал перед смертью только войну! Говорят, человек перед смертью думает сразу о многом. Может быть, и так, но он перед смертью думал только об одном — о войне. И когда он вдруг, в полузабытьи, услышал голоса и залитыми кровью глазами увидел приближавшиеся к нему три фигуры, он и тут не вспомнил ни о чем другом, кроме войны, и не подумал ничего другого, кроме того, что к нему подходят фашисты и он должен сначала стрелять, а потом застрелиться. Пистолет лежал на траве у него под рукой, он нащупал четырьмя пальцами его шершавую рукоятку, а пятым — спусковой крючок. С трудом оторвав руку от земли, он, раз за разом нажимая на спуск, стал стрелять в расплывавшиеся в кровавом тумане серые фигуры. Сосчитав пять выстрелов и боясь обсчитаться, он дотянул руку с пистолетом до лица и выстрелил себе в ухо.

Два милиционера и Синцов остановились над телом застрелившегося летчика. Перед ними лежал окровавленный человек в летном шлеме и с генеральскими звездами на голубых петлицах гимнастерки.

Все произошло так мгновенно, что они не успели прийти в себя. Они вышли из густого кустарника на полянку, увидели лежавшего в траве летчика, крикнули, побежали, а он раз за разом стал стрелять в них, не обращая внимания на их крики: «Свои!» Потом, когда они почти добежали до него, он сунул руку к виску, дернулся и затих.

Старший из милиционеров, опустившись на колени и растегнув карман гимнастерки, испуганно вытаскивал документы погибшего, а потрясенный Синцов молча стоял над ним, держась рукой за простреленный бок, стоял, еще не чувствуя боли, а лишь немоту и кровь, проступившую через гимнастерку. Три дня назад он застрелил человека, которого хотел спасти, а сейчас другой человек, которого он тоже хотел спасти, чуть не убил его самого, а потом застрелился и теперь лежит у его ног, как тот сошедший с ума красноармеец на дороге.

Может быть, летчик принял их за немцев из-за серых прорезиненных милицейских плащей? Но неужели он не слышал, как они кричали: «Свои, свои!»?

Продолжая одной рукой держаться за мокрый от крови бок, Синцов опустился на колени и взял у милиционера все, что тот вынул из нагрудного кармана мертвого. Сверху лежала фотография красивой женщины с круглым лицом и большегубым, припухлым, улыбающимся ртом. Синцов твердо знал, что где-то видел эту женщину, но не мог вспомнить, ни когда это было, ни где. Под фотографией лежали документы: партийный билет, орденская книжка и удостоверение личности на имя генерал-лейтенанта Козырева.

«Козырев, Козырев...» — все еще не сопоставляя до конца одно с другим, повторял Синцов и вдруг вспомнил все сразу: не только хорошо знакомое со школьных лет лицо этой женщины — лицо Нади, или, как они звали ее в школе, Надьки Караваевой, но и это изуродованное пулей, знакомое по газетам лицо.

Синцов все еще стоял на коленях над телом Козырева, когда появились прибежавшие сюда на выстрелы летчик с бомбардировщика и шофер. Летчик сразу узнал Козырева. Он сел на траву рядом с Синцовым, молча посмотрел и так же молча отдал документы и, больше удивляясь, чем сокрушаясь, сказал всего одну фразу:

— Да, такие дела... — Потом посмотрел на Синцова, который все еще стоял на коленях, прижимая руку к намокшей гимнастерке. — Что с тобой?

— Стрелял... Наверное, думал, что мы немцы, — кивнул на мертвого Синцов.

— Снимай гимнастерку, перевяжу, — сказал летчик.

Но Синцов, выйдя из оцепенения и вспомнив о немцах, сказал, что перевязаться можно потом, в машине, а сейчас надо отнести к ней тело генерала. Оба милиционера, неловко подсовывая руки, приподняли тело Козырева за плечи, летчик и шофер взяли его за ноги, под коленями, а Синцов шел сзади, спотыкаясь, по-прежнему прижимая рану рукой и чувствуя все усиливающуюся боль.

— Надо тебя перевязать, — повторил летчик, когда положили тело Козырева в кузов грузовика и машина тронулась.

Он торопливо, на ходу грузовика, стянул с себя гимнастерку, потом нательную рубашку и, взявшись за подол ее короткими крепкими пальцами, не обращая внимания на возражения Синцова, быстро разорвал ее на несколько полос.

— Сквозная, заживет, — сказал летчик понимающим тоном, задрал на Синцове гимнастерку и обвязывая его лоскутами своей рубашки. — Доедешь, не помрешь. Давай обратно гимнастерку спусти.

Он одернул на Синцове гимнастерку и туго подпоясал ниже раны, Синцов охнул.

— Черт его знает, как он тебя... — извиняющимся тоном сказал летчик, взглянув на Синцова, на мертвого Козырева и опять на Синцова.

Через несколько минут они доехали до того места, где оставили раненых.

Штурман был в забытьи, раненный в ногу красноармеец лежал на спине и тяжело и часто дышал. Красноармеец с гранатами сидел возле них.

— А где остальные? — спросил у него Синцов.



— Побежали туда, — красноармеец показал в сторону Могилева. — Ветер туда далеко парашют понес. Наверное, поймали. Выстрелы были, я слышал.

Погрузив обоих раненых и красноармейца, поехали дальше. Летчик настоял, чтобы Синцов сам сел теперь в кабину.

— На тебе лица нет, не будь... — заботливо выматерился он, и Синцов послушался.

Сзади от времени до времени бухала артиллерия, и иногда с порывами ветра доносилась пулеметная стрельба. Проехав два километра, остановились: Люсина и красноармейцев по-прежнему не было видно.

Синцов, с трудом подавив в себе желание проехать еще хоть немножко дальше, снова прислушался к доносившейся сзади стрельбе и сказал, что придется подождать здесь, пока товарищи, ловившие немца, не выйдут из леса.

Сзади по-прежнему слышалась стрельба. Синцов чувствовал на себе вопросительные взгляды, но, решив прождать пятнадцать минут, сидел и ждал.

— Покричите еще раз, — сказал он, когда минутная стрелка подошла к назначенной черте.

Старший из милиционеров уже в который раз рупором приложил руки ко рту и гулко окликнул лес, но лес по-прежнему молчал.

— Проедем еще дальше, — сказал Синцов.

Но дальше им пришлось проехать совсем мало: через полкилометра их остановил вышедший на дорогу лейтенант в танкистской форме. У него было злое лицо и немецкий автомат на груди. За его спиной из придорожной канавы поднялись еще двое танкистов с винтовками на изготовку.

— Стой! Кто такие? — Лейтенант рывком открыл дверь кабины.

Синцов ответил, что он из редакции фронтовой газеты, а сейчас ищет своих людей, которые пошли ловить немецкого летчика.

— А что это за ваши люди, сколько их?

Синцов сказал, что их семеро: младший политрук, сержант и пять бойцов. Почему-то, еще сам не зная почему, он начинал чувствовать себя виноватым.

— Вот-вот, мы их задержали, а они на вас и ссылаются, как вы им дезертировать помогали! — ядовито усмехнулся лейтенант. — А ну, давайте машину с дороги и к нашему капитану — там разберемся, кто наши, кто ваши и кто вы сами!

Эти слова разозлили Синцова, но все нараставшее чувство своей неосознанной вины удержало его от вспышки. Вместо него взорвался перегнувшийся из кузова летчик.

— Эй, ты, — заорал он на лейтенанта, — поди сюда! Тебе майор говорит! Поди сюда, сунь нос!

Лейтенант смолчал, зло поигрывая желваками, подошел к борту машины и заглянул внутрь. То, что он увидел там, если не переубедило, то смягчило его.

— Проезжайте сто метров, там съезд в лес будет, свернете! — хмуро, как бы подчеркивая, что ему не в чем извиняться, сказал он Синцову. — Я все равно имею приказ никого не пропускать...

— Портнягин! — окликнул он одного из своих танкистов. — На крыло, проводи до капитана! Стой! — снова задержал он уже тронувшийся грузовик. — Бойцы, из кузова на землю! Здесь останетесь!

Оба милиционера и красноармеец с гранатами выпрыгнули из кузова. Тон приказа не располагал к проволочкам.

— Давай! — махнул лейтенант не столько Синцову, сколько своему стоявшему на подножке танкисту.

Когда грузовик, с треском надламывая своей тяжестью наваленные в кювет ветки, съехал в лес, Синцов увидел две 37-миллиметровые пушки, спрятанные в кустах и повернутые стволами к шоссе. Возле пушек друг против друга, раскинув ноги, сидели два бойца, рядом с ними лежали горка гранат и моток телефонного провода; они связывали гранаты.

Петляя между деревьями, грузовик выехал на маленькую полянку, полную людей. Здесь стояла полуторка, в кузове которой лежали ящики патронов и гора винтовок, рядом с нею стоял закиданный еловыми лапами связной броневинок.

Старшина-танкист, отрывисто подавая команды, строил, вздваивал, поворачивал «кру-гом!» сорок красноармейцев с винтовками. Мелькнули знакомые лица бойцов, ехавших с Синцовым в машине.

У броневиночка, облокотившись на ящик полевого телефона, сидел на земле капитан-танкист в шлеме и повторял в трубку:

— Слушаю. Слушаю. Слушаю...

Рядом с ним сидел еще один танкист, тоже в шлеме, а сзади них, переминаясь с ноги на ногу, стоял Люсин.

— Когда же, спрашивается, они связь дотянут? — кладя трубку и вставая, спросил капитан.

Он прекрасно видел и подъехавшую машину, и уже успешных вылезти из нее Синцова и летчика, но задал свой вопрос так, словно никого не видел, и только после этого вцепился глазами во вновь прибывших.

— Я помощник по тылу командира Семнадцатой танковой бригады, а вы кто? — сбив все в одну фразу, отрывисто спросил он.

Хотя он отрекомендовался помощником по тылу, вид у него был совсем не тыловой. Надетый на рослое тело грязный, порванный комбинезон был прожжен на боку, кисть левой руки до пальцев замотана бинтом с запекшейся кровью, на груди висел такой же немецкий автомат, как у лейтенанта, а лицо было давно не бритое, черное от усталости, с грозно горевшими глазами.

— Я... — первым начал летчик, но вид его слишком ясно говорил, кто он.

— С вами ясно, товарищ майор, — жестом прервал его капитан. — Со сбитого бомбардировщика?

Летчик угрюмо кивнул.

— А вот вы предъявите документы! — Капитан сделал шаг к Синцову.

— Я же вам говорил, — подал голос стоявший сзади капитана Люсин.

— А вы молчите! — не поворачиваясь к нему, через плечо отрезал капитан. — С вас свой спрос! Предъявите документы! — еще грубее повторил он Синцову.

— А вы сначала сами предъявите мне документы! — вспливав от явного недружелюбия капитана, крикнул Синцов.

— Я в расположении своей части предъявлять документы никому не обязан, — в противоположность Синцову неожиданно тихо сказал капитан.

Синцов вытащил свое удостоверение личности и отпускной билет, только сейчас вспомнив, что не успел получить новых документов в редакции. Почувствовав неуверенность, он стал объяснять, как это вышло, но от этого его неуверенность только усилилась.

— Малопонятные документы, — возвращая их Синцову, хмыкнул капитан. — Но, положим, все так, как вы говорите. А зачем вы людей с переднего края в тыл за собой тащите, кто вам на это права дал?

Еще с той минуты, как нечто подобное сказал ему лейтенант на шоссе, Синцов жаждал поскорей объяснить, что это недоразумение. Он стал рассказывать, как к машине выскочили бойцы, как он их взял с собой, чтобы спасти, как потом взял еще одного красноармейца.

Но, к его удивлению, оказалось, что капитан вовсе не считает все происшедшее недоразумением. Наоборот, он именно это и имеет в виду:

— У страха глаза велики! Одним снарядом с танка сразу десять человек свалить, да еще в лесу?.. Враки! Попадали со страха, а старший по команде, вместо того чтобы собрать людей, половину бросил, а сам дал стрелкача по шоссе. А вы уши развесили! Так сколько хочешь можно в тыл увезти: одни

напугались, другие свою часть в тылу ищут... Надо свои части впереди искать, там, где противник! — Капитан выругался и, облегчив душу, уже спокойнее сказал, махнув рукой на старшину, занимавшегося с бойцами: — Вон там их в чувство приводят! Приведем — и в бой поведем! А в Могилев каждого паникера возить — в тылу их и без того хватает! Нам люди тут нужны, мне командир бригады приказал к вечеру сколотить триста человек пополнения из тех, кто по лесам шляется, и я их сколочу, будьте покойны! И вашего младшего политрука возьму, и вас, — неожиданно с вызовом добавил капитан.

— Он в бок ранен, — угрюмо, как все, что он говорил, кивнув на Синцова, сказал летчик. — Ему в госпиталь надо ехать.

— Ранен? — переспросил капитан, и в глазах его было недоверчивое желание заставить раздеться и показать рану.

«Не верит», — подумал Синцов, и душа его похолодела от обиды.

Но капитан теперь уже и сам увидел темное пятно на гимнастерке Синцова.

— Доложите своему политруку, — повернулся он к Люсину, — почему вы отказываетесь остаться и идти в бой. Или вы тоже ранены, но от меня скрывали?

— Я не ранен! — неожиданно визгливо выкрикнул Люсин, и его красивое лицо оскалилось. — И я ни от чего не отказываюсь. Я на все готов! Но у меня есть задание редактора поехать и вернуться, и я без приказа своего старшего по команде не могу своевольничать!

— Ну, как вы ему прикажете? — спросил капитан Синцова. — Положение у нас тяжелое, вот у меня на всю группу даже ни одного политработника нет. Вчера сами из окружения вышли, а сегодня уже пхнули чужую дыру затыкать. Пока я тут людей собираю, там, на Березине, бригада последние головы кладет!

— Да, конечно, оставайтесь, товарищ Люсин, раз хотите, — простодушно сказал Синцов. — Я бы тоже... — Он поднял глаза на Люсина и, только встретившись с ним глазами, понял, что тот вовсе не хотел оставаться и ждал от него совсем других слов.

— Ну, теперь все, — сказал капитан и строго, в упор повернулся к Люсину: — Идите к старшине, принимайте вместе с ним команду над группой.

— Только вы доложите редактору про это самоуправство и что вы тоже... — крикнул Люсин в лицо Синцову, но не успел закончить фразу, потому что капитан с силой повернул его своей перевязанной рукой и подтолкнул вперед.

— Доложит, не беспокойся! Иди выполняй приказание. Ты теперь у нас в бригаде. А не будешь подчиняться — жизни лишу.

Люсин пошел, горбя плечи, за одну минуту перестав быть стройным и молодеватым военным, которым он казался до этого, а Синцов, почувствовав непреодолимую слабость, опустился на землю.

Капитан удивленно посмотрел на Синцова, потом, вспомнив, что политрук ранен, хотел что-то сказать, но телефон издал слабый писк, и он схватился за трубку.

— Слушаю, товарищ подполковник! Одну группу отправил по старому маршруту. Вторую сформировал. Куда? Сейчас отмечу. — Он вытащил из-за пазухи комбинезона сложенную вчетверо карту и, поискав глазами какой-то пункт, сделал резкую отметку ногтем. — Так точно, стоят в засаде. — Синцов понял, что он говорит о пушках у шоссе. — И гранаты на случай связали. Не пустим!

Капитан замолчал и целую минуту слушал что-то со счастливым выражением лица.

— Ясно, товарищ подполковник, — сказал он наконец. — Вполне ясно. А у нас как раз тут... — Он хотел что-то рассказать, но, очевидно, на другом конце провода его оборвали. —

Есть закончить разговоры! — сказал он смущенно. — У меня тоже все.

Он положил трубку на ящик, встал и поглядел в лицо летчику с таким выражением, словно в его силах было сказать что-то радостное этому человеку, у которого только что сгорела машина и на глазах погибли товарищи. И это так и было, он и сказал то единственное, что еще могло сейчас порадовать летчика:

— Подполковник говорит, что вряд ли сегодня можно ожидать прорыва по шоссе. Немцы только небольшую часть танков переправили. Остальных вы за Березиной остановили. Мост в прах разбит, следов не видно.

— Мост в прах, и нас в прах — гордиться нечем! — отрезал летчик, но по его лицу было видно, что он все-таки гордится этим мостом.

— А как вы горели! Мы кулаки зубами рвали! — сказал капитан. Ему хотелось утешить летчика. — Немец тут упал, хотел его живым взять, да где там, разве можно на это людей уговорить после всего, что видели!

— А где он? — с трудом поднимаясь, спросил Синцов.

— Здесь, за елками лежит, да лучше на него не смотреть, — махнул рукой капитан. — Как под танком побывал... — И, посмотрев на бледного от потери крови Синцова, добавил: — Поезжайте, раз вы ранены, я не держу.

— У нас там еще двое раненых в кузове лежат, — словно все еще оправдываясь, сказал Синцов. — И убитый. — Он хотел сказать, что убитый — генерал, но не сказал: к чему? — Пошли, — обратился он к летчику.

— Я, пожалуй, здесь останусь, — сказал тот неторопливо и решительно: он думал об этом все время, пока шел разговор, наконец решил и уже не собирался передумать. — Винтовку дашь? — спросил он капитана.

— Не дам, — мотнул головой капитан. — Не дам, дорогой сокол! Ну куда ты мне и что это даст? Иди туда, — он ткнул за-

бинтованной пятерней в небо. — От самого Слуцка пятимся, каждый день мучаемся, что вы мало летаете. Иди летай, ради бога, — все, что от тебя требуется! Остальное сами сделаем!

Синцов остановился у машины, ожидая, чем все это кончится.

Но слова капитана мало тронули летчика. Будь у него надежда получить взамен сбитой новую машину, он бы и сам не остался здесь, но этой надежды у него не было, и он решил драться на земле.

— Не даст винтовки — сам достану, — сказал он Синцову, и Синцов понял, что тут нашла коса на камень. — Поезжай, только штурмана в госпиталь доставь по-хорошему.

Танкист промолчал. Когда Синцов сел в кабину, они продолжали молча стоять рядом, танкист и летчик: один — большой, высокий, другой — маленький, коренастый, оба упрямые, злые, раздосадованные неудачами и готовые снова драться.

— А как ваша фамилия, товарищ капитан? — уже из кабины спросил Синцов, впервые за все время вспомнив о газете.

— Фамилия? Жаловаться, что ли, на меня хочешь? Зря! На моей фамилии вся Россия держится. Иванов. Запиши. Или так запомнишь?

Когда машина выезжала из лесу на шоссе, Синцов еще раз увидел снятого им с поста красноармейца; он сидел рядом с двумя другими бойцами и занимался тем же, чем и они: связывал гранаты телефонным проводом по три и по четыре вместе.

До Могилева ехали больше двух часов. Сначала сзади слышалась артиллерийская канонада, потом стало тихо. Не доезжая десятка километров до города, Синцов увидел пушки на конной тяге, разъезжавшиеся на позиции — влево и вправо от дороги, и двигавшуюся по шоссе колонну пехоты. Он ехал как в тумане; ему казалось, что он хочет спать, а на самом деле он время от времени терял сознание и снова приходил в себя.



Над окраиной Могилева высоко в небе барражировали два истребителя. Судя по тому, что зенитки молчали, истребители были наши. Вглядевшись, Синцов узнал МиГи: он видел эти новые машины еще весной в Гродно. Про них говорили, что они намного превосходят по скорости «мессершмиты».

«Нет, все еще не так плохо», — сквозь усталость и боль подумал Синцов, сам не вполне отдавая себе отчет в том, что уверенность эта у него не столько от вида войск, занимавших позиции перед Могилевом, или зрелища барражирующих над городом МиГов, сколько от воспоминания о задержавших его машину танкистах, о лейтенанте, похожем на своего капитана, и о капитане, наверное похожем на своего подполковника.

Когда полуторка остановилась у госпиталя, Синцов в последний раз собрался с силами: держась за борт, он дождался, пока из кузова вынесли бесчувственного штурмана, стонавшего сквозь сжатые зубы красноармейца и мертвого генерала. Потом он приказал шоферу ехать в редакцию и доложить, что он остался в госпитале.

Шофер закрыл задний борт. Синцов, взглянув на залитые кровью пачки газет, вспомнил, что они так почти ничего и не раздали, и остался один на булыжной мостовой.

В приемный покой он вошел еще сам. Вынул из кармана и положил на стол документы генерала, потом полез за своим удостоверением, достал его, протянул сестре и, дожидаясь, когда она его возьмет, странно повернулся боком и, потеряв сознание, упал на пол.

### 3

Через две недели после ранения, когда Синцов уже по два раза на дню гулял в госпитальном саду, пришло приказание эвакуировать госпиталь в Дорогобуж. Среди раненых сразу же распространился слух, что немцы переправились через Днепр у Шклова и обходят Могилев с севера.

Ранение, как выразился врач, оперировавший Синцова, было «удачным»: пуля скользнула по ребрам.

Синцов, чувствуя себя почти поправившимся, пошел к замполиту госпиталя просить о выписке. Перспектива эвакуации пугала его. Он не хотел потом еще раз искать свою редакцию.

— Сдается мне, что они уже уехали, — усомнился замполит.

Но Синцов твердо сказал, что этого не может быть. Если б уехали, они забрали бы его с собой, так обещал ему редактор.

По горло занятый эвакуацией раненых, замполит не стал настаивать: в конце концов, раз хочет выписываться — пусть выписывается!

К полудню, получив документы и обмундирование, Синцов вышел из ворот госпиталя.

В Могилеве было пусто и тревожно: на улицах появились баррикады, в заложенных мешками угловых окнах домов стояли пулеметы.

У здания могилевской типографии, где Синцов рассчитывал застать редакцию, стоял не расположенный к разговорам часовой. И двери и железные ворота во двор были наглухо заперты. Изнутри не доносилось не только шума машин, но вообще ни одного звука; все как вымерло.

Через час могилевский военный комендант, тот же самый майор, у которого Синцов был две недели назад, только еще больше обалдевший от бессонницы, подтвердил, что редакция фронтовой газеты уехала два дня назад. «Даже известить не могли», — подумал расстроенный Синцов.

— А куда уехали?

Комендант пожал плечами и сказал, что маршрута ему не докладывали. Штаб фронта переместился в район Смоленска, вслед за ним уехала и редакция.

— Зря раньше времени выписались. Эвакуировались бы с госпиталем в Дорогобуж, а оттуда нормальным порядком искали бы то, что вам надо.

Несладкое предчувствие новых скитаний охватило Синцова.

— Слушайте, а какие вообще части стоят в районе Могилева?

— А зачем вам?

Синцов ответил, что хочет попасть в штаб ближайшей дивизии, побыть в ней и собрать материал для газеты, чтоб потом добираться до редакции по крайней мере не с пустыми руками.

Комендант нехотя развернул карту и показал небольшой лесочек на той стороне Днепра, километрах в шести от могилевского моста. Здесь, по его словам, стоял штаб 176-й дивизии.

Уже перейдя мост через Днепр и сделав три километра по шоссе Могилев — Орша, Синцов услышал позади, за Днепром, артиллерийскую стрельбу. Он несколько минут постоял на шоссе, прислушиваясь к тревожным гулам артиллерии, и снова зашагал, продолжая думать все о том же самом, о чем начал думать, выйдя из могилевской комендатуры: что же дальше?

Был штаб фронта под Минском, потом под Могилевом, теперь переехал под Смоленск — это, значит, еще на сто пятьдесят километров ближе к Москве...

Как ни заставляй себя думать об этом спокойно, сама география бьет молотком по голове.

Две недели госпиталя многому научили Синцова. Какие только слухи не бросали его за эти дни из горячего в холодное и обратно! Если верить одному только плохому, давно можно было бы спятить с ума. А если собирать в памяти только хорошее, в конце концов пришлось бы ущипнуть себя за руку: да полно, почему же тогда я в госпитале, почему в Могилеве, почему все так, а не иначе?

Сначала Синцову казалось, что правда о войне где-то посередине. Но потом он понял, что и это не правда. И хорошее

и плохое рассказывали разные люди. Но они заслуживали или не заслуживали доверия не по тому, о чем они рассказывали, а по тому, как рассказывали.

Все, кто был в госпитале, так или иначе прикоснулись к войне, иначе они бы не попали сюда. Но среди них было много людей, которые знали пока только одно — что немец несет смерть, но не знали второго — что немец сам смертен.

И наибольшего доверия среди всех остальных заслуживали те люди, которые знали и то и другое, которые убедились на собственном опыте, что немец тоже смертен. Что бы они ни рассказывали — хорошее или дурное, за их словами всегда стояло это чувство, — это и была правда о войне.

Капитан-танкист, от которого Синцов получил урок в лесу под Бобруйском, был именно из таких людей.

Дело было не в храбрости одного или трусости другого. Просто капитан в тот день глядел на войну другими глазами, чем Синцов. Капитан твердо знал, что немцы смертны и, когда их убивают, они останавливаются. Думая так, он подчинял этому все свои действия, и, конечно, правда была на его стороне. Синцов хотел увести от опасности бросившихся к нему за спасением людей. Капитан хотел спасти дело, бросив этих людей в бой.

И, конечно, немцы не прорвались тогда к Могилеву именно потому, что и остатки бригады, в которой служил капитан, и все, кто с оружием в руках сбился в тот день вокруг бригады, знали, а кто не знал, узнали в бою, что немцы смертны. Убивая немцев и умирая сами, они выиграли сутки: к вечеру за их спиной развернулась свежая стрелковая дивизия.

Об этом рассказал Синцову редактор, приехавший на второй день навестить его.

Редактор, узнавший о поездке к Бобруйску из уст шофера, хвалил Синцова, тревожился за Люсина и ругал танкиста за самоуправство. У него даже проступили свекольные жилки на дрыгавших от гнева добрых, толстых щеках.

Синцов не разделял чувств редактора. Он знал, что сделал в тот день много глупого, хорошо еще, что его поступки не были продиктованы трусостью. Вдобавок, как всякий, кто лежит в госпитале, часто думая о своем ранении, он не мог отмахнуться от горькой мысли, что летчик мог бы не застрелиться, если б не эти проклятые серые милицейские плащи, похожие на немецкую форму. Он не подумал об этом тогда, а на войне надо думать. И, очевидно, все время.

Не мог он разделить гневных чувств редактора и в истории с Люсиным. Младший политрук Люсин поехал развезить газету, а попал в бой. Ну и что ж, этого могло и не быть, но вышло так. Синцова тревожило только воспоминание о вдруг оскалившемся лице Люсина. Люсин не хотел оставаться, а танкист сказал: «Не подчинишься — жизни лишу!» Чем все это кончилось?

Он попробовал высказать свои мысли редактору, но в ответ услышал:

— Что ж, прикажете мне всех вас в части раздать? Сегодня Люсина, завтра вас, послезавтра еще кого-нибудь?

Последнее было в общем верно, а в частности, когда Синцов вспоминал тот лес, ту минуту и того капитана, казалось, наоборот, совсем неверным.

Он и редактор проговорили целый час, но, кажется, так и не поняли друг друга.

А еще через несколько часов произошло событие, надолго вытеснившее все другие мысли и чувства.

Синцов услышал по радио речь Сталина.

Громкоговоритель висел в коридоре, рядом со столиком дежурной сестры. Его пустили на всю громкость, а в палатах настежь открыли двери.

Сталин говорил глухо и медленно, с сильным грузинским акцентом. Один раз, середине речи, было слышно, как он, звякнув стаканом, пьет воду. Голос у Сталина был низкий, негромкий и мог показаться совершенно спокойным, если б

не тяжелое усталое дыхание и не эта вода, которую он стал пить во время речи.

Но, хотя он волновался, интонации его речи оставались размеренными, глуховатый голос звучал без понижений, повышений и восклицательных знаков. И в несоответствии этого ровного голоса трагизму положения, о котором он говорил, была сила. Она не удивляла: от Сталина и ждали ее.

Его любили по-разному: беззаветно и с оговорками, и любясь и побаиваясь; иногда не любили. Но в его мужестве и железной воле не сомневался никто. А как раз эти два качества и казались сейчас необходимей всего в человеке, стоявшем во главе воевавшей страны.

Сталин не называл положение трагическим: само это слово было трудно представить себе в его устах, — но то, о чем он говорил, — ополчение, оккупированные территории, партизанская война, — означало конец иллюзий. Мы отступили почти повсюду, и отступили далеко. Правда была горькой, но она была наконец сказана, и с ней прочней стоялось на земле.

А в том, что Сталин говорил о неудачном начале этой громадной и страшной войны, не особенно меняя привычный лексикон, — как об очень больших трудностях, которые надо как можно скорее преодолеть, — в этом тоже чувствовалась не слабость, а сила.

Так по крайней мере думал Синцов, лежа ночью на койке и под стоны умиравшего соседа снова и снова вспоминая во всех подробностях речь Сталина и пронзившее душу обращение: «Друзья мои!», которое потом целый день повторял весь госпиталь.

Обычно такие вопросы задают себе в юности, но Синцов впервые задал его себе в тридцать лет, в эту ночь на госпитальной койке: «Как, отдал бы я свою жизнь за Сталина, если б мне вот просто так пришли и сказали: умри, чтобы он жил? Да, отдал бы, и сегодня проще, чем когда-нибудь!»

«Друзья мои...» — повторяя слова Сталина, прошептал Синцов и вдруг понял, что ему уже давно не хватало во всем том большом и даже громадном, что на его памяти делал Сталин, вот этих сказанных только сегодня слов: «Братья и сестры! Друзья мои!», а верней — чувства, стоявшего за этими словами.

Неужели же только такая трагедия, как война, могла вызвать к жизни эти слова и это чувство?

Обидная и горькая мысль! Синцов сразу же испуганно отмахнулся от нее как от мелкой и недостойной, хотя она не была ни той, ни другой. Она просто была непривычной.

Главным же, что осталось на душе после речи Сталина, было напряженное ожидание перемен к лучшему. И это ожидание как будто начало оправдываться даже скорей, чем думалось, — в первую же неделю.

В сводках каждый день стали повторяться все одни и те же направления, на которых шли ожесточенные бои. Это вызывало повышенное доверие потому, что среди других направлений фигурировало Бобруйское. А на нем немцы действительно уже несколько дней топтались на месте: госпиталь имел об этом сведения из первых рук.

Но потом в госпитальном воздухе потянуло тревогой. Сначала прошел слух, что немцы, не пробившись к Могилеву, повернули от Бобруйска на Рогачев и Жлобин и взяли их. Затем к Синцову вдруг заехал на минуту редактор, спросил о здоровье, сказал, что если редакция будет переезжать, то его возьмут с собой, и уехал с поспешностью человека, не желающего отвечать на вопросы. Наконец в день получения приказа об эвакуации госпиталь заговорил о том, что немцы перешли Днепр у Шилова.

Сейчас Синцов шагал по обочине шоссе, шедшего вдоль Днепра, на север, к этому самому Шилову, и думал о правдивости утренних слухов.

Если они, к несчастью, правдивы, то становился понятным отъезд редакции из оставшегося за Днепром Могилева. Непонятным было другое: неужели у них при этом не нашлось десяти лишних минут, чтобы сдержать слово и забрать его, Синцова, из госпиталя?

Могилев и сейчас, через два дня после отъезда редакции, не производил впечатления города, который собираются сдавать. Почему же такая спешка? Обида только укрепляла Синцова в решении не возвращаться в редакцию без хорошего, боевого материала.

Слабость после ранения уже давала себя знать, а на седьмом километре, там, где, по словам коменданта, должен был стоять штаб дивизии, в лесу виднелись только следы машин, ямы в глинистой земле и ветки наспех разбросанной маскировки. Если тут и стоял штаб, то, судя по этим вялым веткам, он уехал по крайней мере сутки назад. Мимо вернувшегося на шоссе Синцова проскочили три грузовика с прицепленными к ним противотанковыми пушками, потом колонна с боеприпасами и еще один грузовик с пушкой. Синцов нерешительно поднял руку, но ни одна машина не остановилась.

Потом мимо пронеслась «эмочка». Синцов уже подумал, что и она не остановится, но она проехала сто метров и стала. Синцов, тяжело дыша, подбежал к ней.

— Что вам, товарищ политрук? — спросил его сидевший рядом с шофером маленький плотный батальонный комиссар, краснолицый, седобровый, в толстых двойных очках.

Синцов объяснил, что ищет штаб 176-й дивизии. Батальонный комиссар, прежде чем ответить, с малообнадёживающим видом попросил предъявить документы.

«Не возьмет», — подумал Синцов. Но лицо батальонного комиссара, прочитавшего госпитальную справку, смягчилось.

— В Сто семьдесят шестой я тоже должен быть, — сказал он, возвращая справку, — но завтра, а сейчас еду в Триста первую. Могу подвезти туда.



Синцова это устраивало. Он поблагодарил и влез в машину. Они проехали молча с километр, потом батальонный комиссар остановил машину и пересел на заднее сиденье.

— Так веселей будет, — объяснил он, когда они снова поехали. — А то разговаривать — все время головой вертеть, а не разговаривать я не умею, — мягко улыбнулся он и протянул Синцову руку: — Шмаков.

Шмаков и в самом деле оказался разговорчивым человеком. Задавая свои быстрые вопросы, он забавно, по-птичьи, клал свою белую голову на левое плечо и через очки с внимательным доброжелательством посматривал на Синцова, как бы приговаривая: «Ну-ка, ну-ка, что вы мне такого интересного скажете?» А когда говорил сам, все время снимал очки, протирал их, прежде чем надеть, внимательно смотрел на свет, найдя пылинку, снова протирал и снова смотрел на свет; глаза его без толстых очков были совсем больные, красные, с припухшими веками.

Синцов отвечал на вопросы неохотно, не вдаваясь в особые подробности: что на войне с шестого дня, что был в разных местах, а ранен под Бобруйском при случайных обстоятельствах. Кажется, Шмаков быстро понял, что у его собеседника смутно на душе, он перестал расспрашивать Синцова и заговорил о себе: что призван в армию всего неделю, приехал на фронт вчера как лектор ПУРККА и это его первая поездка в части.

— И какие же вы лекции будете читать здесь, на фронте? — спросил Синцов, подумав про себя, что лично ему уже поздно слушать теперь лекции.

— Вообще-то я по специальности экономист. — Шмаков не заметил или не пожелал заметить иронии, прозвучавшей в вопросе Синцова. — А темы разные: «Война и международная обстановка», «Военно-экономический потенциал Германии» — ну и, конечно, более общие темы.

— А военное образование у вас есть? — спросил Синцов.

— Как вам ответить? — Шмаков снова протер очки и внимательно посмотрел их на свет, словно заглядывая куда-то далеко, в прошлое. — Как многие коммунисты моего возраста, был когда-то, в гражданскую войну, политработником. А впрочем, строго говоря, это скорее опыт, чем образование.

«Да, опыт, — горько подумал Синцов. — Что-то пока не видно, чтобы нам помогал этот опыт. Немцы не белые, а Гитлер не Деникин...» И с яростью вспомнил прочитанный два года назад роман о будущей войне, в котором от первого же удара наших самолетов сразу разлеталась в пух и прах вся фашистская Германия. Этого бы автора две недели назад на Бобруйское шоссе!

Все эти мысли разом пронеслись у него в голове, но он ничего не сказал вслух, а только вздохнул.

— Тяжело вам пришлось? — услышав этот вздох, чутко спросил Шмаков.

— Мне-то что! — искренне ответил Синцов. — А вообще до того иногда тяжело... — И, почувствовав доверие к сидевшему рядом с ним маленькому седому человеку, горестно махнул рукой.

— Ничего, — сказал Шмаков и даже чуть притронулся к рукаву Синцова, словно успокаивая его. — Понемногу сдерживаем, потом остановим, создадим перелом; бывало и хуже: Юденич под Петроградом, Деникин Орел взял, на Москву шел... Ничего, в конце концов переломили.

— У Деникина авиации и танков не было, — вырвалось у Синцова.

— Верно, или, точнее, почти верно, — согласился Шмаков, снова не заметив или сделав вид, что не замечает его настроения, — но и у нас многого не было из того, что есть сейчас: пятилеток не было, четырех миллионов коммунистов не было...

«Чего он меня агитирует?» — подумал Синцов с раздражением. Его душа искала успокоения, но противилась соблазну слишком легко принимать на веру то, что могло ее успокоить.

— Конечно, — помолчав, сказал Шмаков, — мы перед войной и хвастались, и кое-что преувеличивали, в том числе свою готовность к войне, — это теперь совершенно ясно. Но это не значит, что мы должны броситься в другую крайность и под влиянием первых неудач преуменьшить свои потенциальные силы. Они у нас громадны и до конца не учтены даже нами, а уж тем более немцами. Я говорю об этом вполне уверенно, потому что знаю вопрос.

— Да что же преуменьшать? — сказал Синцов. — Разве кому-нибудь из нас охота преуменьшать? Просто навидался всякого, и петь «Все хорошо, прекрасная маркиза...» что-то неохота.

— Да, песня, прямо скажем, не большевистская, — рассмеялся Шмаков, — а мы большевики, пора с ней кончать.

— Вы давно из Москвы? — подумав о Маше, спросил Синцов.

— Три дня.

— Бомбили?

— Нет.

— Правда?

— Я вообще имею привычку говорить только правду, — ответил Шмаков неуловимо изменившимся голосом и посмотрел сквозь очки прямо в глаза Синцову.

— А почему не бомбят, как по-вашему?

— Потому что на все сил не хватает. Бросили всю авиацию на фронт, а на Москву летать — не хватает.

— Так уж и не хватает?

— Не хватает. И вообще не надо представлять себе, что у немцев неисчерпаемые силы: некоторые из нас уже кинулись в эту крайность — и зря! От нее недалеко до паники, а для паники у нас нет причин, да и не в нашем она характере, хотя в семье не без уроды, — заключил Шмаков все с той же твердой нотой в своем мягком голосе.

И, хотя все сказанное сейчас Шмаковым очень походило на косвенный выговор, Синцов с благодарностью посмотрел на

него. В словах Шмакова чувствовалась убежденность, далекая от незнания истинного положения вещей.

— Значит, спокойно в Москве? — спросил он вслух.

— Как сказать! — Шмаков пожал плечами. — Навоз, конечно, всплывает. А в целом, — подумав, подытожил он, — нормально. — И, словно еще раз прикидывая, совершенно лично ответил, опять задумался и повторил: — Да, нормально!

Едва он сказал эти слова, как навстречу их машине с бешеной скоростью промчалось несколько грузовиков. В последнем, до пояса высунувшись из кабины, ехал всклокоченный человек без фуражки и оглушительно кричал:

— Там танки, танки!

Шофер, не останавливая машины, вопросительно повернулся к Шмакову; лицо у него было испуганное.

— Поехали, — спокойно сказал Шмаков, — нам еще километр до штаба дивизии. Паника какая-то, не может быть...

Синцов промолчал. Нежелание показать себя осторожней этого человека пересилило здравый смысл.

— Не может быть, — через полкилометра повторил Шмаков. — Мне сказали, что наши войска держат оборону по всему Днепру, откуда же на этой стороне могут быть немецкие танки?

Синцов снова промолчал. «Откуда могут быть? — подумал он. — А черт их знает, откуда они могут быть!»

— Вот где-то здесь, направо, должен быть поворот к штабу дивизии, — сказал Шмаков, близоруко приближая к самым глазам планшет с засунутой под целлулоид картой. У него была непоколебимая уверенность впервые ехавшего на фронт человека, что все находится именно там, где это отмечено на карте. — Сейчас остановимся, посмотрим, наверно, есть какой-нибудь указатель.

Но не успел он приказать шоферу остановиться, как тот затормозил сам. Вдалеке, прямо на дороге, один за другим начали рваться снаряды. Дорога, которая до этого была почти

пуста, оказалась сразу загроможденной машинами: одни неслись навстречу, другие, подошедшие сзади, поспешно разворачивались. Шофер «эмки», не ожидая приказаний, тоже стал разворачивать машину и вдруг при новом грохоте снаряда ринулся из машины в кювет.

Синцов распахнул уже дверцу, чтоб выскочить и вернуть шофера, но Шмаков вышел из положения проще.

— Сидите, — спокойно удержал он Синцова за плечо и сам, быстро пересев за руль, развернул «эмку» и поставил ее на обочину. Он сделал это как раз вовремя: еще несколько секунд — и их бы смяли несшиеся без оглядки грузовики.

— А теперь вылезем. — Шмаков подошел к кювету и окликнул лежавшего там шофера по фамилии: — Товарищ Солодилов!

Шофер поднялся, испуганно моргая.

— Идите садитесь за руль, — приказал Шмаков.

Шофер понуро вернулся в машину, а Шмаков, не садясь, как-то странно затоптался возле нее на месте, поглядывая вперед, туда, где продолжали рваться снаряды.

Синцов испытал знакомое чувство неприкаянности.

— Слушайте, товарищ батальонный комиссар, — сказал он, преодолевая нежелание первым заговорить о том, что нужно ехать обратно, — давайте вернемся километра на два — на три. Я видел: там по обочинам стоят противотанковые орудия. Найдем кого-нибудь из командиров и узнаем, можно ли проехать в Триста первую.

Говоря так, он боялся, что Шмаков, показавшийся ему при внешней мягкости упрямым человеком, не согласится и они поедут вперед, в неизвестность. Но Шмаков, выслушав его и посмотрев на стоявший впереди над дорогой дым, сел в машину.

— Понимаете, даже нагана нет, не удосужились выдать, — сказал он, словно оправдываясь в том, что согласился поехать назад.

«Как же, очень помог бы тебе твой наган!» — подумал Синцов, забыв о том, как сам нервничал в первый день без оружия.

— Значит, командиров бросили, а сами сбежали, — сказал Шмаков, облакачиваясь о спинку переднего сиденья и сбоку заглядывая в лицо шоферу.

— Что же, судите, раз виноват, — глухо ответил тот, не поворачиваясь.

— Что ж вас судить, просто стыдно — и все. Вы комсомолец?

— Комсомолец, — так же глухо сказал шофер.

— Тем более стыдно, — сказал Шмаков. — У меня сын комсомолец, я бы от стыда сгорел, если б узнал, что он поступил так, как вы.

— А где он, ваш сын? — тихо спросил шофер, и Синцов понял, что все предыдущие слова Шмакова будут для шофера пустым звуком, если Шмакову придется ответить, что сын его где-то в тылу.

— Мой сын был летчиком, бортстрелком. Он убит неделю назад. А что?

— Ничего, — совсем тихо сказал шофер.

— Стоп! — воскликнул Синцов, следивший за дорогой.

Они остановились у поставленного в кювете противотанкового орудия, которое издали казалось выползшим из леса на шоссе островком кустарника. Рядом с орудием сидел полковник без фуражки, с коротко остриженной седой головой и пил чай из термоса.

— Продерните машину на двести метров дальше, — вместо приветствия сказал он, когда Шмаков и Синцов вылезли из машины, — а потом будем разговаривать!

Шмаков приказал шоферу проехать вперед и, кивнув на север, показал полковнику, что там, километрах в четырех, немцы обстреливают шоссе.

— Очень может быть, — сказал полковник, вставая и завинчивая термос.